

Юрий Буйда

Прусская
Книга-город
Невеста

Лауреат премии
БОЛЬШАЯ КНИГА

18+



Новая русская классика

Юрий Буйда

Прусская невеста

«Издательство АСТ»

2022

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Буйда Ю. В.

Прусская невеста / Ю. В. Буйда — «Издательство АСТ»,
2022 — (Новая русская классика)

ISBN 978-5-17-147631-1

«Прусская невеста» — книга-город, густонаселенный, разнородный, странный. Это сейчас он — Знаменск Калининградской области, завоеванный в 1945-м Красной армией, куда после войны «беспричинные люди» со всего Союза съехались строить новую жизнь. А раньше городок звался Велау и считался Восточной Пруссией. Русские переселенцы начинают осваивать чужой для них мир черепичных крыш и булыжных мостовых. Здесь суровая правда соседствует с мифами и легендами, гротеск и романтика — с очень жестким реализмом, человеческие трагедии — с подлинной, пусть порой нелепой, любовью... Содержит ненормативную лексику!

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-147631-1

© Буйда Ю. В., 2022
© Издательство АСТ, 2022

Содержание

Однажды и больше ни разу	6
Прусская невеста	9
Отдых на пути в Индию	12
Хитрый Мух	15
Китай	17
По Имени Лев	21
Братья мои жаворонки	26
Пятьдесят два буковых древа	30
Фарфоровые ноги	33
Ванда Банда	35
Чудо о Буянихе. Поэма	40
Ева Ева	60
Рита Шмидт Кто Угодно	64
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Юрий Васильевич Буйда

Прусская невеста

© Буйда Ю.В.

© ООО «Издательство АСТ»

Однажды и больше ни разу

*Я был там.
Я свидетель.
Я видел:
Я горел.*

Память – это не я.

Моя память принадлежит множеству людей, которые ее создавали.

Однажды мать вспомнила, как ее семья переживала голод в Поволжье в 1921–1922 годах.

Мимо Саратова по Волге плыли по течению деревянные баржи, доверху заваленные трупами, разглядеть которые было трудно из-за мух: страшными полупрозрачными кипящими облаками миллиарды мух гудели над мертвыми телами. Вдали на пристани едва шевелились люди, но у них не было сил, чтобы что-то сделать. И баржи одна за другой ползли мимо полувымершего города, то поворачиваясь к течению боком, то ускоряя ход. Жара, лето, безмолвие, баржи, тысячи мертвецов, кипящие полупрозрачные облака из мух, и я видел эту волжскую ширь, позолоченную мертвым золотом, и беспорядочное нагромождение тел на баржах, и эти тучи мух...

– Я стояла на склоне Соколовой горы, над затоном, и смотрела на баржи сверху. Одна из них развернулась и приткнулась к берегу, а потом ее оторвало течением и понесло дальше. Но запах, который поднялся вверх, ко мне, – этот запах никогда не забуду.

– Но тебе тогда было два или три года, – сказал отец. – Как ты можешь это помнить?

– Помню, – сказала мать. – Я же не умом смотрела – только глазами, глаза все помнят. А когда половина братьев и сестер умирали один за другим, когда просыпаешься утром, а в кухне очередной гробик стоит на двух табуретках... и вдруг кукушка из часов вылетает и начинает орать, орать... такое не забудешь...

Отец вспоминал, как в начале тридцатых, похоронив мужа и спасаясь от страшного белорусского голода, его мать покидала в телегу нищенские пожитки, посадила детей, сунула за щеку несколько немецких золотых марок, под юбку – обрез, перекрестилась и двинулась на юго-восток – лесными дорогами, потом степными, в объезд больших городов, куда голодающих беженцев не пускали милицейские кордоны, – в Донбасс, на черноземы, и я видел эту маленькую упрямую женщину с вожжами в руках, с поджатыми губами, в платке, с набухшей щекой и винтовочным обрезом, который подарил ей сосед, тщетно ухаживавший за нею, – обрез, пять патронов в обойме и еще пять про запас. На прощание сосед научил ее обращаться с оружием, которое, по счастью, ей так и не пришлось пускать в ход...

А бабушка вспоминала свою слепую прапрабабушку, стодвадцатипятилетнюю старуху, которая узнала о рождении прапраправнука – моего отца – и пришла в деревню, чтобы только провести ладонью по лицу младенца, мужчины, выпить самогонки и вернуться домой, на свой безвестный лесной хутор, где она доживала свой век в одиночестве, закурить трубку, лечь в постель, умереть – ее черный пес умер рядом на дощатом полу – и быть похороненной случайными людьми – красным кавалерийским эскадроном, который дал залп из ста сорока винтовок над земляным холмиком и рысью скрылся в темноте в июльском хаосе 1919 года, и я видел эту костлявую высокую старуху, босую, широко шагающую по щиколотки в густой летней пыли, и ее спальню, затканную серебряной паутиной, и холмик с курительной трубкой, воткнутой в землю вместо креста, и красных кавалеристов, молчаливых обугленных могучих мужчин, которые мчались к лесу тяжелой черной массой, сливавшейся с темной массой елового леса...

В том конце нашей улицы, который выходил в старый парк, у железной дороги стоял маленький дом под черепичной крышей, где жили супруги Левашовы, Иван и Маня. Маня была немой. В 1943-м под Сталинградом Иван Левашов снял с тела убитого немецкого солдата фотографию его жены, невесты или подружки – ослепительной белокурой красавицы – и влюбился в нее без памяти. Он берег эту фотографию в битвах между Волгой и Доном, под Курском, в Белоруссии и Восточной Пруссии. На исходе войны он был ранен и оказался в госпитале, находившемся в городке Велау. И вот здесь он встретил женщину с фотографии. За всю войну Иван выучил три немецких слова – «их либе дих» – их, думал он, хватит, чтобы объяснить незнакомой женщине, как глубоко, как истово он любит ее. И она поняла его. Командование не поощряло браки между советскими солдатами и немецкими женщинами, а вскоре стало известно, что немцев депортируют в Германию. Иван не мог жить без Мани, поэтому вырезал у нее язык, чтобы она не могла никому рассказать о себе, и женился на ней, выдав за сироту, которая томилась в немецком шталаге. Скоро у них пошли дети, с их младшей дочерью я учился в одном классе.

Эту историю знал весь наш городок, бывший Велау, однако подруга матери, Вероника Андреевна Жилинская, главный врач нашей единственной больницы, говорила, что это вранье.

– Может быть, она и немка, – сказала она, – но никто никому языка не вырезал – Маня немая от рождения. Это просто любовь, хотя смириться с этим, конечно, трудно.

После войны Вероника Андреевна была начальницей солдатского дома, где лечились безногие, безрукие, слепые солдаты. Когда она узнала, что всех ее подопечных приказано ночью вывезти на Валаам, где они были бы обречены, то посадила безногого Илью Духонина в мешок и тайком вынесла из солдатского дома, а потом вышла за него замуж и родила четверых детей.

Однажды я встретил Веронику Андреевну в глухом месте, там, где река протоками соединяется с Детдомовскими озерами. Она молча сидела у большого серого куска гранита, обращенного плоской стороной к воде, наконец встала, положила руку на камень, сказала: «До свиданья, милый Костик» – и ушла.

– Там утонул ее пятилетний сын Костик, – сказала мать, выслушав мой рассказ. – Его так и не нашли. Видимо, течением вынесло в реку. Ничего не осталось – только камень. Камень Костик.

Образы чужой памяти окружали меня, проникали насквозь, как рентгеновские лучи, соединялись с тайными частицами крови и становились частью моего организма, меняя зрение, слух и речь.

Поглощая чужие воспоминания – рассказы соседей, друзей, случайных попутчиков, книги, фильмы, – моя память хаотически, незаконно разрасталась, постепенно превращаясь в сферу Паскаля, центр которой всюду, а окружность нигде, и я как будто исчезал, хотя на самом деле я и был этой ужасающей сферой, ее центром и окружностью. Именно так, думаю я, в человека и проникает Бог. Тем же путем, впрочем, приходит к нам и дьявол.

Балансируя между игрой ума, заводящей нас в пропасти дьявольские, и памятью сердца, возвращающей нас к себе, к тому немногому в нас, что готово вознести нас к вершинам ангельским, мы то теряем свое «я», то обретаем его, но происходит это не попеременно, а одновременно, хотя и в разных временах, в которых живет один и тот же человек. И это еще одна волшебная способность человеческих существ, напроць лишенных собственной природы.

Память побуждает нас проводить различия между адом и раем, хотя она же, наша память, не позволяет забывать, что живем мы одновременно там и там, в аду и в раю.

Ад – это не то, что начинается за воротами. Это долгий путь – сначала приятный, потом терпимый, наконец однажды ты вдруг обнаруживаешь себя с револьвером в руке напротив лучшего друга, матери или возлюбленной и стреляешь. Не можешь не выстрелить.

На самом все проще, тошнее и безысходнее.

Ад пуст.

В полном одиночестве я брожу по его пустынным равнинам и холмам, спускаюсь в остывшие ямы и щели, касаюсь холодных стен, еще хранящих следы страшных ожогов, и под ногами моими хрустят крысиные кости, и запахи мазута, серы и высохшего дерьма кружат голову, и все болит, все – кости, мышцы, сердце, и слезятся глаза, и отчаяние охватывает при мысли о том, что это навсегда, что ничего не вернуть, не переиграть, не изменить, и тоска, тоска тяжело влачится за мною грязной тенью – кучей смрадного мусора...

А рай – это память о тех минутах, когда мы свернули с Тверской в проулок и она вдруг скинула туфли, свистнула по-хулигански и запрыгала на правой ноге – от фонаря к фонарю, от дома к дому; подхватив туфли, я бросился за нею; отклоняясь при каждом прыжке вправо и резко взмахивая руками, она то пропадала в тени, то вылетала в круг света, и широкая желтая юбка с громким шорохом то взлетала, то обрушивалась пылающими складками, спадая по ее гладким блестящим бедрам ниже колен; наконец она остановилась, оперлась руками о стену дома, мотнула головой и проговорила прерывающимся радостным голосом: «Как хорошо!» Я присел на корточки, чтобы помочь ей обуться, и она приподняла подол, вытянула ножку, и из-под юбки ударило таким густым и жарким женским, что от счастья у меня закружилась голова, и вдруг все исчезло, совсем исчезло, чтобы остаться навсегда...

Память – это я.

Мы живем лишь *однажды и больше ни разу*, сказал поэт. Очевидная банальность «однажды» возносится до вершин трагедии, когда за нею следует «и больше ни разу». Но мы не умираем совсем, окончательно, если продолжаем существовать в чужой памяти – мертвым золотом Волги, курительной трубкой, воткнутой в землю вместо креста, или камнем Костиком – и превосходим безвестный и трепетный час своей смерти, оставаясь *niemandes Schlaf zu sein unter soviet Lidern* – ничьим сном под тяжестью стольких век...

Прусская невеста

Заслышав шаги, мы с Матрасом разом присели, утонув в тени кладбищенской стены, сложенной из валунов. В свете фонарей, качавшихся у железнодорожного переезда, на тропинке показался отец Матраса. Он промышлял тайной продажей немецких надгробий литовцам и всякого, кто появлялся вблизи кладбища с ломом или лопатой, грозил скормить свирепым призракам, которых приваживал мухоморами.

– Пошли, – прошептал Матрас-младший, когда отец скрылся в темноте. – Туда.

Пригибаясь, мы пробрались между ржавыми покосившимися оградами в глубину кладбища. Присев на корточки, осветили карманными фонариками серую гранитную плиту, покрытую пятнами лишайника. В прошлый раз после долгих усилий нам удалось сдвинуть ее. Однако и теперь понадобилось не меньше часа работы, прежде чем в образовавшуюся щель смогли протиснуться тощие тринадцатилетние гробокопатели. Еще полчаса ушло на то, чтобы при помощи плоскогубцев и отвертки снять тяжелую крышку с гроба, стоявшего на высоком кирпичном цоколе.

– Теперь включаем, – сказал Матрас.

– Раз, два! – скомандовал я и нажал кнопку фонарика.

Перед нами со сложенными на груди руками лежала юная девушка. На верхней ее губе, ближе к углу рта, пушилась родинка. На ней было белое платье, сотканное то ли из паутины, то ли из той материи, из которой кроют крылья бабочек, и белые же туфли с золотыми каблуками. На левом запястье тикали крохотные часики в форме сердца.

– Как живая, – проговорил Матрас таким голосом, словно язык у него был из бумаги. – Тикает.

Девушка вздохнула, и в тот же миг воздушное платье и гладкая кожа превратились в облако пыли, которое медленно осело вдоль узловатого позвоночника. Мы заворожено смотрели на пыльный желтый скелет, на нелепо торчавшие белые туфли с золотыми каблуками, на часики в форме сердца, продолжавшие тикать, на густые волосы, в которых, как в гнезде, покоилось темно-желтое яйцо черепа. Из черной глазницы вдруг выпорхнул крошечный мотылек.

Матрас испуганно выругался.

Мой мочевой пузырь сжался, и я едва успел сдернуть штаны.

Матрас торопливо снял со скелета часы, цепочку с крестиком, бледное колечко. Мы выползли наверх и изо всех сил налегли на плиту. Наконец она встала на место.

– Фонарик! – вдруг вспомнил я. – Фонарик там остался. В гробу.

– Ладно. – Матрас сунул мне часики. – Пусть там светит, чтоб ей веселее было.

Спустя три года через кладбище прошли экскаваторы, оставившие после себя глубокие ямы для опор теплотрассы. Школьники таскали черепа и кости, чтобы поугагать учителей и ровесниц. Рабочие гоняли мальчишек за вином. Наш кумир Саша Фидель, двухметровый детина с черной курчавой бородой и щербатой бандитской улыбкой, прежде чем приложиться к бутылке, смешно крестился, чтобы кладбищенские призраки не наслали на него икоту. Однажды вечером его экскаватор вспыхнул и в несколько минут сгорел вместе с заснувшим Сашей. Утверждали, что, когда обугленное тело вытащили из кабины, умирающий выдохнул черную бабочку, которая, покружив над людьми, растворилась в темноте. Сашу похоронили на новом кладбище. Старое забросили.

Я родился в Калининградской области через девять лет после войны. С детства привык к тому, что улицы должны быть мощены булыжником или кирпичом и окаймлены тротуарами. Привык к островерхим черепичным крышам. К каналам, шлюзам, польдерам, к вечной сыро-

сти и посаженным по линейке лесам. К дюнам. К морю, чьи плоские воды незаметно переходят в плоский берег. И я не знал иного способа постижения этого мира, кроме сочинения этого мира. Однажды я узнал, что родной мой городок когда-то назывался не Знаменском, а Велау. Жили здесь немцы. Была здесь Восточная Пруссия. От нее остались осколки – эхо готики, дверная ручка причудливой формы, обрывок надписи на фасаде. В отличие от осьминога, бездумно занявшего чужую раковину, мне нужно было хоть что-нибудь знать о жизни, которая предшествовала моей и создала для моей жизни форму. Учителя, вообще взрослые, были неважными помощниками. Не то что они не интересовались прошлым этой земли, нет, – но им было некогда, да и потом, им сказали, что чужое прошлое им не нужно. Был тут «оплот милитаризма и агрессии», жил и умер Кант – и довольно. Пруссков – предшественников немцев на этих землях – почему-то считали славянами. Старожилы утверждали, что вот это здание было городской школой, а это – пересыльной тюрьмой. Или наоборот. Некоторые глухо вспоминали о недолгой поре, когда русские и немцы жили вместе, а потом немцев вывезли невесть куда, вроде бы – в Германию. Земля стала нашей. Отныне и навеки – гласила истина, безвкусная, как речная галька. В немногих книгах сообщалась жалкая толика сведений: завоевание орденом прусских земель, основание Кенигсберга, разгром тевтонов на полях Грюнвальда – Танненберга, Петр Великий в Восточной Пруссии, русская атака под Гросс-Егерсдорфом, французская атака под Фридландом, Тильзитский мир, август четырнадцатого, апрель сорок пятого... А жизнь? Что это была за жизнь? Старожилы пожимали плечами. Рассказывали о страсти немцев к рытью подземных ходов. О Янтарной комнате. Тротуары мыли с мылом. Рыбаки шатались от голода, но весь улов сдавали властям. Потом их депортировали. Всё. Десяти-двадцатитридцатилетний слой русской жизни зыбился на семисотлетнем основании, о котором я ничего не знал. И ребенок начинал сочинять, собирая осколки той жизни, которые силой его воображения складывались в некую картину... Это было творение мифа. Рядом – рукой подать – был заколдованный мир, я жил в заколдованном мире – но если русский человек в Пскове или Рязани мог войти в заколдованный мир прошлого, принадлежавшего ему по праву наследства, – кем был я здесь, человек без ключа, иной породы, иной крови, языка и веры? В лучшем случае – кладоискателем, в худшем – гробокопателем. При первом же вздохе девочка Пруссия обращалась в прах. Я слышал песнь скорби, которую пела горстка всадников в белых плащах, покинувших дорогую родину и пришедших в Пруссию – страну ужаса, в пустыню, где бушевала страшная война (так писал летописец крестоносцев Петр Дюсбургский). Гремели пушки, стрелявшие ядрами, высеченными в моренах доисторических ледников. Ползли в тумане ганзейские караваны. Сам дьявол в образе чудовищной Рыбы являл свой хребет над равниной Фришес-гафф. Цвел боярышник. Шиповник. Пахло яблоками. Во всех временах этой вечности шел дождь, колеблемый ветром с моря. Прусское время...

Я жил в вечности, которую видел в зеркале. Это была жизнь, которая одновременно была сновидением. Сновидения созданы из того же вещества, что и слова.

В предисловии к «Мраморному фавну» Генри Джеймс писал об Америке, о том, как «трудно написать роман о стране, где нет теней, нет древностей, нет тайны, нет ничего привлекательного, как и отталкивающе ложного, да и вообще ничего нет... кроме ослепительного и такого заурядного сияния дня; а именно так обстоит дело на моей обожаемой родине». Именно так, казалось мне, обстоит дело и на моей обожаемой родине. Там, где я родился. Тени и тайны принадлежали чужому миру, канувшему в небытие. Но странным образом эти тени и тайны – быть может, тень тени, намек на тайну – стали частью химии моей души. Одно время я терзался раздвоением. Ребенком я гордился победой славян и литовцев под Грюнвальдом – и одновременно горько сострадал судьбе Ульриха фон Юнгингена, гроссмейстера ордена, павшего в отчаянной схватке с поляками и похороненного в часовне замка Бальга, на берегу Фришес-гаффа. Позднее я понял, что русский интеллигент в XX веке поставлен точно в такое же

положение относительно русского прошлого. Наверное, тогда же пришло понимание того, что сновидения национальности не имеют. Слова – слова – имеют, но не Слово, стирающее различия между Шиллером и Эсхилом, Толстым и Гёльдерлином, более того, между живыми и мертвыми – между читателем и давно умершим писателем. Писатель, то есть сновидец, живет не в Знаменске или Велау, но там и там одновременно, – но в России, Европе, в мире. На вершине холма под Изборском, который называют Труворовым городищем, я испытал те же чувства, что и на мысе Таран, на самом западе России.

У моей малой родины немецкое прошлое, русское настоящее, человеческое будущее.

Через Восточную Пруссию немецкая история стала частью истории русской. И наоборот. И это закономерно, если вспомнить, каким гигантским перекрестком крови всегда была земля между Вислой и Неманом.

Та девочка, покой которой мы с Матрасом нарушили, была невестой. Именно невестой: не чужой, но и не женой. Между живыми и мертвыми существуют отношения любви как высшее проявление памяти, то есть отношения идеального жениха и идеальной невесты. И именно Слово – та печь, где любовь становится скрепляющей нас известью. В одном из своих стихотворений Рильке выразил это чувство лексическим приемом – *Ichbinbeidir* – Ястобой.

В оде «К радости» Шиллер так пишет об этой божественной силе:

Власть твоя связует свято
Все, что в мире врозь живет:
Каждый в каждом видит брата
Там, где веет твой полет.
Обнимитесь, миллионы!
В поцелуе слейся, свет!..¹

Через полтора столетия ему откликается другой немец – Готфрид Бенн – стихотворением с красноречивым названием «Целое»:

Сперва казалось: цели ждать недолго,
Еще яснее вера будет впредь.
Но целое пришло веленьем долга
И, каменя, должен ты смотреть:
Ни блеска, ни сияния снаружи,
Чтоб напоследок броситься в глаза.
Гологоловый гад в кровавой луже,
И на реснице у него – слеза².

В XX веке люди вновь осознали как неизбежность устремления к Целому, так и то, что путь этот – путь трагический, путь через разлад, который, как ни парадоксально, является источником нашего стремления к Целому. Быть может, единственным источником.

Той девочки, разумеется, никогда не было. Это миф, один из мифов моего детства. Но часы – ее крошечные часики в форме сердца – продолжают идти (сколько времени? – вечность). Цветет родинка в уголке рта. Выпархивает из глазницы мотылек – черная бабочка сновидений.

«Мы созданы из вещества того же, что наши сны...» Это Шекспир. Кажется, англичанин, что, впрочем, несущественно в мире вечности – в Доме моей невесты...

¹ Перев. М. Лозинского.

² Перев. В. Микушевича.

Отдых на пути в Индию

Некоторые утверждают, что теплохода «Генералиссимус» никогда не было. Это не так. Корабль был, и какой: самое большое в мире судно, чьи гребные винты выплескивали из берегов Волгу; его тоннаж составлял 88 тысяч брутто-регистрационных тонн. Строили его с вполне определенной целью. Перед экипажем была поставлена задача: достигнуть берегов Индии и открыть там город Багалпур, находящийся в округе Орисса, в Западной Бенгалии, на реке Ганг и железнодорожной линии Калькутта – Дели, население – около 69 тысяч жителей (по состоянию на 1921 год); вывоз: рис, пшеница, кукуруза, горох, просо, индиго. Запланировано было также по пути открыть Францию, территория которой 550 965,5 квадратных километров, население 41 834,9 тысяч человек, из них 760 тысяч итальянцев и 67 тысяч русских, индекс резиновой промышленности (первый квартал 1935 года к уровню 1913 года) – 760, текстильной промышленности – 61.

Экипаж был укомплектован опытными моряками, учеными, военными, а также пышущими здоровьем колхозницами из спортобщества «Динамо» и писателями в звании от майора и выше – сообразно заслугам перед отечественной словесностью. Пароход загрузили провизией, живым скотом и птицей, самыми крепкими в мире велосипедами ЗИФ и лучшими в мире галошами фабрики «Красный треугольник».

1 июля 1952 года «Генералиссимус» двинулся из Москвы по направлению к Балтийскому морю. На палубах беспрестанно играли духовые оркестры. Через каждые полчаса украшавшая нос судна бронзовая сирена с плоским монгольским лицом и острыми собачьими сиськами исполняла «Марш энтузиастов». За кормой вздымался алый от рыбьей крови пенный бурун. Горели золотом на солнце красиво зарешеченные иллюминаторы. С бортов свисали пышные гирлянды цветов, которые было нипочем не отличить от живых. Именно таким – не корабль, а полная чаша – и увидели мы теплоход «Генералиссимус» ранним августовским утром 1952 года.

Многие и тогда и позже гадали: почему именно в нашем городке капитан «Генералиссимуса» решил сделать короткий привал. Ларчик открывается просто, если рассмотреть все обстоятельства: предпоследний город перед выходом в открытое море; удобная пристань, где баржи-самоходки все лето грузятся отличным песком и высококачественным гравием, запасы которого в окрестностях – едва ли не самые большие в районе, а может, и в мире; баня на шестьдесят помывочных мест; две столовки – Красная и Белая; бумажная и макаронная фабрики; другие предприятия легкой и пищевой промышленности; средняя школа с часами на башенке, в которой проживает ржавый золотой петушок; школа-интернат для умственно неполноценных детей, куда многие записывают своих чад задолго до их рождения; парикмахерская, где до избрания на пост председателя поссовета (официально, на бумаге, наш город почему-то числился поселком городского типа) трудился Кальсоныч; дурочка Общая Лиза, употреблявшаяся как дворник, говновоз, рассыльная, а иногда и как милиционер, если участковый впадал в очередной запой; ее дочь от неведомого отца – Лизетта, щеголявшая зимой и летом в сшитом из заплатанных простыней балахоне, чтобы вернее ощущать себя вольной птицей попугаем и не создавать трудностей мужчинам, на просьбы которых она охотно откликнулась; дед Муханов, из упрямства и вредности вознесший дощатую будку туалета выше черепичной кровли своего дома, укрепив ее при помощи жердей и ржавых труб, перевязанных проволокой (и дважды в день с немалым риском для жизни дед поднимался в свой скворечник по шаткой лесенке, и через минуту зоркие жители городка могли издали наблюдать за полетом экскрементов из дырки в полу будки – в ржавый таз на земле); удобные улицы, вымощенные булыжником и поставленным на торцы кирпичом; водопад на Лаве; шлюзы на Преголе; устойчивая телефонно-телеграфная связь с близлежащими и отдаленными населенными людьми пунктами;

изобилие парного молока, собак, майских жуков, а также яблок сорта «белый налив»; наличие в болоте возле бумажной фабрики настоящего водяного, чьи необыкновенные мужские достоинства вызвали справедливое негодование женщин, сравнивавших их с достоинствами своих мужей, – словом, если все это честно суммировать, становится ясно: нет ничего странного в том, что ранним августовским утром белоснежный гигант, спрямивший на всем ее протяжении русло узенькой речушки и выдавивший из нее всю воду, отшвартовался у нашей пристани под приветственные крики Кальсоныча, Общей Лизы, Лизетты, деда Муханова и других жителей, числом более пяти тысяч (без заключенных местной тюрьмы).

Сняв сапоги и портянки, Кальсоныч поднялся по ковровой дорожке на борт судна, держа перед собой на вытянутых руках хлеб-соль на полотенце с черным больничным штампом и служебное удостоверение на имя Кацнельсона Адольфа Ивановича в развернутом виде. За ним под звуки оркестра последовали и остальные ликующие жители.

До сих пор помню, как капитан – мужчина трехметрового роста, с усами, аккуратно разложенными по плечам, и бронзовой грудью – показывал нам корабль и знакомил с поющей сиреной и прочими членами экипажа. Среди них, помнится, был человек, перед которым поставили задачу поразить воображение туземцев Багалпура и Франции. В груди у него была небольшая дверца, а за ней – искусно сделанное из стекла и металла сердце производства Челябинского тракторного завода; сердце исправно, гораздо лучше природного, перегоняло кровь, а по мере надобности его можно было проветривать. Капитан дал мне свой бинокль, и я, помню, смог разглядеть содержимое карманов моих сограждан, а также – огромную волосатую родинку на Лизеттином животе, слева от пупка. Это было незабываемое зрелище. Сейчас таких биноклей, увы, не делают. Капитан показал нам также машинное отделение, где в полной темноте восемь тысяч отборных велосипедистов, сидя на специальных станках с педалями, приводили в движение гребные винты. В кают-компании нам предложили фрукты, но мы, говоря это с сожалением, не отважились их попробовать, хотя они были так похожи на настоящие...

Кульминацией встречи стал футбольный матч между командой «Генералиссимуса» и нашими спортсменами. Надо ли говорить, что игроки с парохода не оставили никаких шансов нашим ублюдкам? Гости продемонстрировали высокий класс, забив только в свои ворота более пятнадцати мячей. Особенно отличился их центрфорвард. Человек ангельского терпения, он в конце концов не смог вынести наглой выходки нашего вратаря, который, получив от него бутсой по челюсти, попытался подло покинуть поле. Разумеется, мы не дали негодяю уйти и задержали, чтобы отдать его в руки центрфорварду гостей. Но этот великодушнейший человек позволил нам самим расправиться с невежей, что мы и сделали, выбив мерзавцу кишки через глотку.

Весь день до захода солнца на корабле играли оркестры, их выступления перемежались сольными номерами флейтиста, чье имя не могли повторить даже отъявленные матерщинники. Божественные звуки флейты погружали слушателей в транс. Захваченные грезами, дети не хотели уходить домой. Их, впрочем, не особенно и понуждали.

Всю ночь до восхода солнца мы таскали и возили на судно провизию. Мы отдали – подчеркиваю, добровольно – все, что у нас было, и даже то, чему только предстояло быть. Со слезами на глазах благодарил нас капитан, от всего сердца упрекавший нас за щедрость, чреватую голодовкой. Но это нас нисколько не пугало.

Наутро, повесив и расстреляв наших футболистов, явно с коварным умыслом проигравших паровой команде, экипаж «Генералиссимуса» отдал швартовы. Заглушая крики провожающих, оркестры на всех палубах грянули с такой силой, что у некоторых стоявших ближе к воде мозги вылетели через нос и уши. Корабль ушел, оставив после себя сухое русло и сглаженные, словно утюгом, берега, забрызганные рубленой рыбой. С тяжелым сердцем возвращались мы к себе. И только дома обнаружили, что на судне ушли все дети. Вероятно, их зача-

ровала прекрасная музыка. Мы завидовали нашим детям, получившим такую возможность повидать мир.

И только Кальсоныч, Общая Лиза и дед Муханов, не разделившие всеобщего ликования, тайком от всех отправились вслед за «Генералиссимусом». Увязая в зловонном иле, они с трудом одолели полтора километра пути и на исходе дня увидели корабль. Его черный проржавевший корпус лежал поперек русла, сквозь огромные дыры в бортах проросли дикие травы и кустарники, в каютах поселились змеи и мыши. Плосколицая сирена с собачьими сиськами, когда ее попытались выволить из ила, чуть приоткрыла бронзовые глаза и тихонько пробормотала: «Ехал на ярмарку ухарь-купец...» Это были последние ее слова.

Кальсоныч опустил на корточки и дрожащими пальцами кое-как свернул козью ножку. Он вдруг почему-то вспомнил своих детей и жену, погибших в печах Освенцима, – и заплакал.

В густом ивняке у кормы обнаружили старшего сына Муханова – он не узнал отца и не смог ничего рассказать. Пока его вытаскивали из кустов, пропала Общая Лиза. Считается, что она ушла искать своих детей. Кальсоныч и дед Муханов с сыном вернулись домой, но никто не поверил, что они нашли корабль, тем более – погибший корабль. Судя по сообщениям печати, он успешно пересек моря и океаны и приближался к первому индийскому порту – Кальяо. Мертвый? Черный? Ржавый? Нет! нет! – в нашей памяти он навсегда остался огромным бело-снежным красавцем с золотыми буквами на борту и высоким пенным буруном за кормой, алым от рыбьей крови...

Хитрый Мух

Настоящая фамилия этого скрюченного человечка с плоской, как блин, макушкой и косящими глазами, наезжающими на клубничину носа, наезжающего на неровно вырезанные губищи, – Мухоротов. Леонтий Мухоротов. Но в городке его знали только по прозвищу – Хитрый Мух. Сторож парка культуры.

– Чего ты там охраняешь? – выпытывали мужики. – Ломатую качель? Или бабу с веслом?

Леонтий хитро улыбался:

– Секрет.

– Какой такой секрет?

– Я знаю, что я знаю, – уходил от прямого ответа Хитрый Мух, тщетно пытаясь натянуть кепку с жеваным козырьком сразу на оба уха. – Тайна.

В парке среди лип с гнилым нутром и буйных зарослей бересклета белели остовы аттракционов, увитые воробьиным виноградом, скрипел дверью пневматический тир, где за обитой мятым алюминием стойкой лязгал протезными руками и ногами сизоносый Виталий, всегда державший для дружков дежурный «маленковский» стакан, и высились там и сям гипсовые фигуры спортсменов с гипсовыми мускулами, рыбаков с чудовищными гипсовыми осетрами в руках и шахтеров – в позах, заставлявших предполагать вывих тазобедренного сустава. Забора не было, зато были ворота – всегда аккуратно выкрашенные ядовито-синей краской и всегда при замке, который Хитрый Мух ежеутренне торжественно отпирал и ежевечерне запирали, похозяйски покрикивая на пробежавших вдали прохожих: «Парк закрыто! Закрыто!»

Из окон его домика открывался вид на аллею с монументальной задницей девушки с веслом на переднем плане.

Скульпторы были главной его любовью и заботой. С утра до вечера бродил он по парку с ведерком разведенного мела и тщательно замазывал трещинки на гипсовых локтях и пятнышки на гипсовых коленях. Особым вниманием пользовалась девушка с веслом, чьи гипсовые формы Мух обихаживал с неподдельной любовью, непрерывно бормоча при этом какие-то заклинания.

Жил он одиноко и замкнуто, даже в общественную баню не ходил, что заставляло подозревать наличие у него какого-нибудь физического недостатка – вроде хвоста или крыльев. А поскольку вдобавок он и водку не пил, и держал свой дом открытым для бродячих кошек, которых иногда кормилось и роилось у него до трехсот, и, в довершение всего, занимался селекцией животных и растений, – почитали его за полупомешанного.

Да, селекция была его страстью, неуправляемой и бестолковой, как всякая страсть. Он скрещивал всё со всем: смородину с крыжовником, репу с малиной, кошек с козами, овец с летучими мышами... Результаты опытов буйно цвели, росли, бегали и оралы в саду и в парке, пугая случайных прохожих и дружков сизоносого Виталия. То вдруг мышшь дерзко мяукнет на слабонервную Граммофонику, то овца какнет с дерева на Кольку Урблюда. К счастью, большая часть тварей просто дохла, не оставляя потомства.

– Бросал бы ты это дело, – хмуро советовал Виталий. – На кой тебе это?

– Да что ж, – жмурился Хитрый Мух. – А вот если кошку с собакой скрестить, какая животная получится?

– С драной жопой, – тотчас отвечал Виталий. – Морда вечно будет на хвост кидаться. Ты лучше женись.

Хитрый Мух задумчиво кивал.

Раз в три-четыре года ему и самому приходила в голову эта мысль. Свахи предлагали ему невест. Хитрый Мух ходил в гости, пил чай, глядя в стол и то и дело норовя натянуть кепку с жеваным козырьком сразу на оба уха, – и в конце концов отказывался.

– Не, – отмахивался он от упреков Виталия, – нам таких не надо. Глухая она.
– Да зачем тебе слуховитая? – яростно лязгал протезами Виталий. – Скрести ее с курой – яйца несть будет. Польза. А?

Хитрый Мух долго мялся, пока наконец не выдавливал из себя, словно великую тайну:

– Некрасивая она...

– А ты! – срывался Виталий. – Помесь негры с мотоциклой! Кому ты нужен?

– Нужен, – хмурился Мух, – не может быть, чтоб никому не нужен.

Виталий долго смотрел ему вслед, машинально выборматывая ругательства, но в душе восхищаясь Хитрым Мухом, хотя и не мог даже себе ответить – почему.

На зиму сторож тщательно укутывал статуи соломой и мешковиной, но к весне дрянной гипс растрескивался, и с каждым годом приходилось тратить на поддержание скульптур все больше замазки и мела.

Зимой в заснеженном парке, кроме Муха, каждый день появлялся только сизоносый Виталий, упрямо просиживавший свой рабочий день за стойкой, потягивая самогон с крепким чаем и читая «Братьев Карамазовых».

А весной Виталий рехнулся. Однажды в полдень он вдруг выскочил на крыльцо тира с пневматической винтовкой и, вопя что-то невразумительное, открыл беглый огонь по кошкам, Муху и Буянихе, забежавшей к Леонтию за солью. Когда примчалась скорая, Виталий забаррикадировался в своем вагончике и отстреливался до последней пульки, потом обделался и свалился под стойку, откуда его, нестерпимо воняющего и неуправляемо лязгающего протезами, кое-как извлекли и засунули в машину. Стальная его нога заклинила дверцу. Санитар плюнул и велел ехать. Машина тронулась под истошный вопль Виталия: «Свободу братьям Карамазовым! Урра-а-а!»

Оставшись один, Хитрый Мух как-то незаметно сдал. Он пристрастился к чтению «Трех мушкетеров» и «Братьев Карамазовых» вслух под сенью девушки с веслом. Время от времени он вдруг замолкал и пытливо вглядывался в гипсовое лицо. А когда наступила зима, перетащил статую в свой дом.

В первую же ночь отогревшаяся девушка отставила весло в сторонку и, стыдливо пунцовая, стянула с себя трусы и майку. «Жмут, – смущенно прошептала она, робко взглядывая на приподнявшегося на локте мужчину, – и натирают».

И Хитрый Мух, наконец-то уразумевший, зачем он живет на этом свете, задыхаясь, принял ее в объятия.

Через несколько дней алкоголик Митроха, по привычке забредший в парк, наобум толкнулся в дверь к сторожу. Хитрого Муха он нашел в обледенелой спальне. Рядом с ним безмятежно спала девушка без весла. Ее заиндевелые волосы красиво разметались по подушке. Митроха на цыпочках удалился.

При осмотре и вскрытии никаких физических изъянов у Хитрого Муха не обнаружилось. В поисках клада добровольцы перерыли весь дом, сад и парк, но – ничего не нашли. Так мы и не узнали, в чем же заключалась хитрость Хитрого Муха и в чем – тайна.

Гипсовую девушку бросили в кусты бересклета – растрескавшуюся, с вытянутой вперед рукой и чуть приоткрытыми чувственными губами. Буяниха положила ей на веки два медных пятака. В голове у нее помутилось, горло сдавило, и Буяниха медленно осела наземь, глотая слезы и массируя грудь: сердце ныло и не отпускало.

– Господи, – прошептала Буяниха, – жизнь это наша – или сон Твой, Господи?..

Китай

Поздним весенним вечером Катя Одиночка услышала шум у входной двери. Набросив на плечи платок и вооружившись кочергой, она выглянула наружу. На крыльце лицом к стене лежал мужчина. Катя присела на корточки и издали ткнула его кочергой в плечо. Он глухо застонал и отвалился на спину. Лицо его было черным от крови. Втащив незнакомца в прихожую. Катя убедилась, что водкой от него не пахнет. Она разбудила жившего напротив Юоза-паса, который беспрекословно запряг лошадь и отвез мужчину в больницу. Вернувшись домой, Катя обнаружила на крыльце чемоданчик, перевязанный шпагатом. Бросила чемоданчик под кровать и легла рядом с дочкой.

Спустя два дня в гостиницу за рекой прибрел, шатаясь и хватаясь руками за заборы, мужчина с огромной от бинтов головой. Охнув, Одиночка схватила его за руку и потащила в свою комнату.

– Чемодан, – прохрипел он. – Где мой чемоданчик?

– Тут он, тут, – успокоила его Катя. – Ложись-ка.

– Хлеба дай, – попросил мужчина. – Черного.

Она принесла кирпич свежего хлеба. Сжав зубы, мужчина содрал бинты и облепил бритый череп еще теплым хлебным мякишем. Катя уложила его в большой комнате, а сама перелазала в чуланчик к дочке.

Неделю незнакомец не принимал пищу и не откликался на известные Кате мужские имена. С утра до вечера она хлопотала по гостинице, вечерами беззлобно переругивалась с пьяненькими командирами (так в городке называли немногочисленных командированных, приезжавших на бумажную фабрику), то и дело норовившими ее облапить, и поздно вечером, поцеловав шестилетнюю Сонечку, сваливалась на тюфяк, в глубокий и безрадостный сон. Ей снился ее первый муж, уехавший на Север зарабатывать большие деньги и там сгинувший, второй муж, выпивший с похмелья залпом бутылку «мутиловки» – метилового спирта – и тотчас скончавшийся, третий муж, отец Сонечки, утонувший на грузовике в весенней реке. «Невезуха, – говорила она бабам с виноватой своей улыбкой. – Видно, на роду написано». Была она маленькая, худенькая, с тощей шейкой, на которой торопливо пульсировали тонкие жилки.

Когда, наконец, незнакомец пришел в себя и впервые поел, Катя отвела его к доктору Шеберстову.

– Хлебом, говоришь, залепил? – Доктор быстро ощупал голову пациента. – Не говном – и то хорошо. Кружится? Болит? Руки не дрожат? Покажи.

Вместо того чтобы вытянуть руки перед собой, мужчина достал из кармана нож с выскакивающим лезвием, которое кончиком прижал к толстой пачке писчей бумаги, лежавшей на столе.

– Сколько?

– Чего? – не понял доктор.

– Проколоть сколько?

– Ну... девять, – сказал Шеберстов.

– Считай. – Мужик спрятал нож в карман. – Девять.

Шеберстов отсчитал девять листов бумаги, прорезанных ножом, и уставился на десятый, на котором не осталось и следа.

– Не дрожат, – сказал мужик. – Спасибо.

– Ну и ну, – сказал Шеберстов. – Как я понимаю, такие ножики пером называются? Так ты постарайся пореже его здесь у нас вытаскивать.

По дороге мужчина купил водки, колбасы, шоколада и золотые часики – для Кати.

– Мне? – ахнула Одиночка. – Слушай... как тебя зовут-то хоть?

– Зови Петром. – Он пожал плечами. – Какая разница.

Перед тем как лечь спать, она примерила золотые часики на Сонечкину руку. Часы соскользнули к локтю. Катя поцеловала счастливо улыбающуюся в полусне девочку, от которой пахло шоколадом, брызнула под мышки духи «Красная Москва», подаренные профсоюзом к женскому дню, и поправила лямки ночной рубашки на худеньких плечах. Вдруг спохватилась и взялась стричь ногти на ногах – плотные и искривленные плохой обувью.

– Ну чего ты там? – позвал Петр. – Или заснула?

С недостриженными ногтями, пахнувшая потом и духами, чуть косолапя от смущения, Катя боком пробралась по стенке в комнату, легла на кровать, стараясь выпятить грудь так, чтобы она казалась больше, – и в очередной раз начала новую жизнь.

Отыскав на чердаке кресло-качалку, Петр при помощи проволоки и гвоздей кое-как починил его и целыми днями просиживал, уставившись на стену перед собой, на которой повесил небольшую карту Китая. Одиночка не спрашивала его ни о чем. А он в иной день мог не произнести ни слова: завтракал, обедал, ужинал – и всё молчком. Да сидел в кресле перед картой, покуривая папиросы.

За суетой по гостиничным делам Катя и не заметила, когда и куда исчез чемоданчик из-под кровати. «Я убрал», – только и сказал Петр. В конце месяца она нашла на столике перед зеркалом пачку денег. Пересчитала – и у нее перехватило дыхание.

– Да если я с такими приду в магазин, меня засмеют, – прошептала она ночью Петру в плечо. – Или посадят. Это из чемоданчика, что ли?

– Трать понемножку, – сказал Петр. – Жизнь прожита.

Катя тихонько засмеялась: ей было хорошо.

Она располнела, стала забывать, как сжимать губы в ниточку, и не опускала глаза, проходя мимо чужих мужчин.

Вечерами Сонечка взбиралась Петру на колени, и он, тихонько раскачиваясь в кресле, рассказывал ей о Китае. Это была страна желтой земли и медлительных рек со сладкими золотыми рыбками. Янцзы, Хуанхэ...

– Это где? Что это? – спрашивала Сонечка.

– Вот. Река. Как эта, – он кивнул на окно, за которым неслышно текла Преголя. – Хуанхэ.

– Эта хуанхэ называется Преголя, – сказала Сонечка. – Значит, наш китай называется Россия?

– Ну да. А ихняя россия – Китай.

По берегам рек там жили люди с крыльями вместо лопаток. Почувяв приближение смерти, они прощались с родными и улетали на озеро Цилинг-цо, где доживали остаток своей вечности, – но живым путь туда был заказан. Китайцы никогда не путешествовали и не воевали, давно поняв, что пространство и время – это одно и то же. Они никого не любили, но никого и не ненавидели. Друг к другу в гости они летали верхом на пышно-красивых фазанах. Питались яблоками и чаем, который рос в садах, подобно траве. Нарочно для детей вывели породу крошечных животных – волков, слонов и тигров, не выраставших больше котенка.

– Хочу такого слоника... – бормотала сонная девочка.

– Бэйпин, – шептал Петр, – Цзинань... Нанкин... Шанхай... Нинбо... Кантон...

Девочка засыпала, он относил ее на кровать в чуланчик, на стене в котором, на вбитом в стену гвоздике, висели золотые часики: Катя стеснялась носить их.

– Какие-то чудеса ты рассказываешь, – сказала она. – Разве такое бывает?

– А какая разница? – не сразу ответил он. – Откуда мы знаем, что такая страна вообще есть? Нету ее.

– Ну... как же... – растерялась Одиночка. – Про Китай все знают... вот и карта...

– Про ад тоже все знают, – усмехнулся Петр. – Все знают, хотя никто там не бывал. И картинки про ад рисуют. Книжки тоже пишут. Я одну такую читал... как мужики по аду путе-

шествовали. – Опустившись в кресло, добавил: – Лет двадцать с собой эту картинку таскаю. Приколю где-нибудь к стенке – и вот я дома. В Китае. Чунцин, Чэнду, Чифу... С ума сойти!

После таких разговоров Одиночке снились мертвые мужья, и она просыпалась, задыхаясь в их объятиях.

На зиму Петр оформился истопником и слесарем в гостинице. Он таскал уголь из подвала, следил за котлом и менял прокладки в вечно текущих водопроводных кранах. Редкие жильцы, пытавшиеся завязать с ним знакомство, чтобы вместе избыть скуку зимних вечеров, наталкивались на непроницаемую стену молчания. Выслушав их, Петр поворачивался к гостю спиной и погружался в созерцание карты Китая.

Весной Сонечка провалилась под лед. Выпив водки, мужики полезли в реку и долго шарили баграми подо льдом, но так и не нашли девочку. Вернувшись домой, Катя зашла в чулан, посмотрела на золотые часики, висевшие на гвоздике, и упала в обморок.

Петр не утешал Катю. Они часами молча лежали в постели. Было так тихо, что хотелось кричать. Одиночка вжималась в его большое тело, но не могла согреться. Однажды она спросила со стоном:

– Миленький, ну почему от тебя ничем не пахнет? Ни пбтом, ни ногами... Хоть бы подеколонился, что ли...

– Это бесполезно, – возразил он, но вечером умылся тройным одеколоном.

А утром он отправился в поссовет к Кальсонычу и долго о чем-то с ним разговаривал. Потом зашел к столярам в леспромхоз. После – к Чекушке, возглавлявшему нестройную компанию музыкантов, игравших на свадьбах и похоронах.

В четверг звуки духового оркестра вытащили на улицу молодежь и стариков. В похоронной полуторке, выкрашенной черным лаком, стоял украшенный бумажными цветами и туей детский гроб, возле которого сидела полусонная Одиночка. За полуторкой шагал Петр в черном костюме и надвинутой на брови шляпе. За ним на почтительном расстоянии – оркестранты. Пораженные люди потянулись следом, и на кладбище собралась толпа, какой здесь не видели с похорон памятника Сталину (чтобы не отправлять его в переплавку, мужики похоронили его на Седьмом холме с соблюдением всех правил и обрядов).

– Гроб-то пустой, – прошептала Буяниха, дыша чесноком в ухо Кальсонычу. – Не грех это? Человека-то там нету.

– А людей и не хоронят, – невозмутимо ответил председатель поссовета. – Хоронят мертвых.

Воскресным майским днем Петр вдруг остановил кресло-качалку и, не отрывая взгляда от карты, негромко проговорил:

– Вот и все, Катя.

Вечером Одиночка нашла его на крыльце. Он был убит выстрелом в лицо. Возле трупа валялся разодранный на две половинки чемоданчик. Катя взяла у Юозапаса лошадь и отвезла его в больницу.

Спустя час в больницу примчался участковый Леша Леонтьев.

– Прооперировал? – спросил он у доктора Шеберстова.

Доктор вздернул брови на лоб.

– Это называется эксгумацией. – Он поманил участкового пальцем: – Пойдем-ка. Я еще никогда такого не видал.

Они спустились в подвал и мимо кухни прошли низким сырым коридором с кирпичными стенами в длинную комнату, в углу которой лежали плиты серого льда. Шеберстов включил светильник под потолком и откинул простыню. Леонтьев медленно поднес ладонь ко рту.

– Сколько ж это он... И когда?

– Он умер около года назад, – сказал Шеберстов, накрывая простыней нестерпимо пахнущее разложением тело, киселем расплзшееся на гранитной плите. – Выстрел ничего не добавил, можешь мне поверить.

Когда они вернулись в кабинет главврача, Леша жадно выпил стакан кислого компота и, отдышавшись, сказал:

– И как я все это объясню начальству? Дела!

– Эти дела касаются живых людей, – сказал Шеберстов.

Катя опустилась в кресло и уставилась на карту Китая, желтевшую в сумерках неровным пятном на серой стене. Она и не заметила, как уснула. Проснувшись, зачем-то отыскала на карте Бэйпин. Проглотила застрявший в горле ком и прошептала:

– Бэйпин. – Перевела взгляд. – Хуанхэ.

Хуанхэ на карте, Преголя за окном. Река и река. Тут Преголя, там – Хуанхэ. Тут и тут. Там и там.

– Хуанхэ! – простонала она – и заплакала. Она вдруг поняла, что отныне обречена на созерцание этой карты, на жизнь в этом Китае – в этом аду...

По Имени Лев

Солнце восходит на востоке, Прокурор не пьет, по воскресеньям бывает футбол.
Таков закон.

Первым на поле выбежал Яшка Бой – долговязый, щегольски приволакивающий ноги, в черном свитере с заплатанными локтями и цифрой 1 на спине; за ним выпрыгивал на газон резиновый Кацо – круглая бритая голова, черные лохматые брови в половину лба, из середины которого ледокольным форштевнем выплывал огромный нос, упирившийся в густую щетку черных усов; следом – Молодой Лебезьян, сын Старого Лебезьяна, носивший под трусами, для защиты от коварного удара, заговоренную хлебную корку; Серега Старателев, улыбающийся двумя рядами стальных зубов, перед игрой тщательно надраенных напильником; Колька Урблюд с красной повязкой на правой ноге, каковой ему запрещалось бить пенальти – во избежание гибели вратарей; Котя Клейн с губами алого мармелада, носивший на груди мешочек с собственными зубами – от выпавших молочных до выбитых коренных; Черная Борода, чья шкура, казалось, того гляди треснет под напором мускульного мяса; Старшина с налитыми кровью глазами и черной ниткой вокруг бычьей шеи – на счастье; Толик – горластый и кадыкастый хохмач, умудрившийся однажды на спор завязать свой член узлом; Алимент, «алиментарно» забивавший в каждом матче по голу благодаря бутсе с секретным гвоздем в подметке; наконец, Иван Студенцов, ничем не примечательный, кроме роста...

Под нестройный свист мальчишек, валявшихся на траве за воротами, на поле трусцой выбежал По Имени Лев – нет-нет, не тот известный всему городку парикмахер, похвалившийся, что может любого побрить ногтем, толстяк в несвежем халате с прорехой на вислом пузе, – в черной рубашке с белоснежным отложным воротничком, в черных же трусах и гетрах, с мячом под мышкой, с неизменным плоским свистком, прыгавшим на жирной груди, на середину поля выбежал бог-распорядитель футбольного действия, приветствуемый паровым оркестром – только трубы и барабаны – и восторженным хором мальчишек: «На-мы-ло! На-мы-ло!» После обмена приветствиями, выбора ворот и первого свистка По Имени Лев – уж таков был ритуал – легким касанием бутсы вводил мяч в игру и переставал существовать, как Бог, некогда запустивший древнюю машину жизни и вмещающийся в ее ход лишь по нужде, а не по зову.

В перерыве болельщики устраивались на травке у ограды стадиона, вокруг расстеленных газеток, на которых раскладывали свежие огурцы и помидоры, хлеб и разящее чесноком сало, уже чуть согревшееся и расплавившееся, но незаменимое под стакан водки с горкой.

Дети со своими пяточками и гривенниками осаждали огромный автофургон, где Феня из Красной столовой, во всегдашнем своем клеенчатом фартуке, торговала леденцами, печеньем и скрипящим в носу лимонадом.

Успевшие подпить музыканты исполняли «На сопках Маньчжурии» и «Амурские волны» – во главе оркестра совершенно лысый круглый Чекушка с трубой, на отлете – его сын Чекушонок, уныло раскачивавшийся над постылым барабаном.

По завершении игры команда рассаживалась спиной к раздевалке, и Андрей Фотограф запечатлевал на пленку тщательно выстроенную композицию победы: в центре директор фабрики, содержавшей команду и стадион, тренер и По Имени Лев, перед ними на корточках с кубком или вымпелом капитан Черная Борода, по бокам игроки в мокрых от пота алых футболках. После этого из шкафчика, где хранились награды, извлекался вместительный кубок, заполнявшийся до краев водкой. Пили по кругу – игроки, директор фабрики, дед Муханов с вросшей в нижнюю губу сигаретой, набитой вместо табака грузинским чаем, председатель поссовета Кальсоныч, когда-то работавший вместе со Львом в парикмахерской, и даже старуха Синдбад Мореход, зорко следившая, чтобы мальчишки не утащили из раздевалки ее законную добычу – пустые бутылки.

В случае же поражения выпивка естественно перерастала в драку с финальным битьем вечно попадавшего под руку Чекушонка.

Но ни победа, ни поражение не мешали игрокам и зрителям воздавать по заслугам самому честному, самому беспристрастному и самому твердому судье всех времен и народов, каковым, без преувеличений и скидок, являлся По Имени Лев. И если закон гласил, что солнце восходит на востоке, Прокурор не пьет, а по воскресеньям бывает футбол, – то можно с чистой совестью добавить: По Имени Лев никогда не ошибался. Его достоинства были так хорошо всем известны, что иногда федерация разрешала судить ответственные матчи с участием команды из нашего городка. Однажды игроки и зрители сбросились и закупили в гастрономе все запасы лаврушки, чтобы поднести Льву пусть и лохматый, но зато от всего сердца огромный венок, размером с автомобильное колесо, – в знак признания его заслуг.

И вот все рухнуло.

В финале кубка лиги По Имени Лев остановил игру и назначил пенальти в ворота Яшки Боя: Котя Клейн в своей штрафной площадке коснулся мяча рукой.

Потом многие говорили, будто Котино поведение объяснялось очередным большим зубом, но, как бы там ни было, игрок тихо – на весь стадион – проговорил:

– Руки не было. Не было руки, Лева.

Даже глухой от рождения Вася Войлуков услышал, как севшая ему на лысину муха скребет под мышками.

По Имени Лев опешил. С ним никто никогда не спорил. Никто. Никогда. Он всегда был справедлив. Как воплощение закона. Это все знали. В этом никто не сомневался. Даже он сам.

Котя пошатнулся и клацнул зубами.

– Не было руки, – повторил он и рухнул в обморок.

Судья перевел взгляд с Коти на публику. Такого еще не было. Такого и быть не могло.

– Пенальти, – услышал Лев чей-то голос и лишь мгновенье спустя сообразил, что голос принадлежит ему. – Пенальти!

И дунул в свисток.

– На мыло! – завопил какой-то карапуз, ужасаясь собственной храбрости. – Су-дью-на-мы-ло!

На Льва обрушился оглушительный гвалт, свист и тысячеголосый вопль – «На-мы-ло!». Голоса тех немногих, кто попытался вступить за судью, утонули в урагане звуков, усугубленном ревом парового оркестра.

По Имени Лев свистнул.

Игрок разбежался и ударил.

Яшка Бой прыгнул.

Мяч крутанулся в сетке и лениво сполз на землю.

По Имени Лев на мгновение представил, что сейчас начнется на стадионе и что будет в раздевалке после игры, и пожалел о том, что население городка больше одного человека, да и этому одному лучше б не родиться на белый свет.

Спас его участковый Леша Леонтьев. По финальному свистку он вылетел на своем мотоцикле на поле, завалил Льва в коляску и на всем газу промчался через тучу камней к воротам, которые никто не догадался закрыть.

Очнувшись во дворе своего дома, По Имени Лев жалобно сморщился:

– В чем моя вина, Леша?

Участковый осторожно помассировал синяк под глазом и проворчал:

– Нету на тебе вины, Лев. Ты был прав, но делать этого не следовало. Понял?

– Нет.

Леша вздохнул.

– У тебя правда, а у них справедливость. Ну, терпи: правда – дело одинокое. И гордое. А гордых не любят. Вылазь-ка.

Тем же вечером игроки вызвали Льва в Белую столовую, где сдвинули столы и усадили судью-парикмахера в середину. Тринадцатым был Леша Леонтьев, которого футболисты пригласили на всякий случай, не надеясь на крепость своих нервов.

Выпив водки, они обвинили Льва в несправедливости. В предательстве. В отсутствии патриотизма. В издевательстве над футболом, городком и миром. В надругательстве над законами человеческими и божескими. В гордыне, наконец.

По Имени Лев тоже выпил водки, но отказался признать себя виновным.

В наступившей тишине поднялся Котя Клейн.

– Клянусь, – сказал он, – что руки не было. А если была, пусть она у меня отсохнет.

И так посмотрел на свою правую руку, что всем стало ясно: она не отсохнет даже после того, как тело превратится в пригоршню праха.

Через несколько дней Котя Клейн не справился с управлением на мокрой дороге, машина врезалась в дерево, водитель почти не пострадал, если не считать довольно сильного удара правой стороной тела о приборный щиток. Но именно этот удар и оказался роковым. Не прошло много времени, как рука начала сохнуть. А когда иссохла и повисла жгутиком, Котя Клейн покончил счеты с жизнью. В гроб ему положили мешочек с зубами – от выпавших молочных до выбитых коренных.

– Ну, рад? – спросил Колька Урблюд у Льва. – Добился своего?

– Я?! – поразился По Имени Лев. – Да ты что, Урблюд!

– А кто?! – поразился Колька. – Не я же!

Похороны Коти Клейна на несколько часов примирили жителей городка, разделившихся на тех, кто считал Котю нарушителем правил (таких было ничтожное меньшинство), и тех, кто винил во всем Льва. Но после похорон люди, симпатизировавшие судье-парикмахеру, уже не осмеливались даже здороваться с ним.

Когда на следующее утро По Имени Лев обнаружил у своего порога первую дохлую кошку и понял, что последнюю ему подбросят в день его похорон, он выпрямился во весь рост, то есть выпятил пузо, и прокричал в небо:

– Я не виновен!

– Виновен! – откликнулось эхо.

Солнце восходит на востоке. Прокурор не пьет, по воскресеньям бывает футбол. Солнце может взойти на западе. Прокурор может напиться в лоск, но в воскресенье все равно будет футбол.

И вот закон рухнул.

Колька Урблюд запил.

Лопнула и больше не завязывалась черная нить на бычьей шее Старшины.

Дочка Льва вышла замуж за Черную Бороду, после чего единственным живым существом в доме, с которым По Имени Лев мог без крика поговорить, стало его отражение в зеркале.

В магазине вместо хлеба ему протягивали завернутый в бумагу булжничек. Постоянные клиенты предпочитали резаться тупыми бритвами, чтобы не ходить в парикмахерскую. Дети перестали играть в судью, важно выбегающего на поле со свистком на жирной груди. Люди проходили мимо Льва, словно его и не было. Никто не обращал внимания на его многодневную щетину, сумасшедший блеск в глазах и нетвердую походку.

– По Имени Лев? Восьмая могила слева на Седьмом холме, – отвечали интересующимся, искренне полагая, что говорят правду и ничего, кроме правды.

Однажды Лев ради шутки побывал на кладбище и убедился, что на памятнике, украшавшем восьмую слева могилу на Седьмом холме, было и впрямь начертано: «По Имени Лев.

Парикмахер». И ни даты рождения, ни даты смерти, словно под землей лежал бесплотный дух. Бесплотное имя. Имя справедливости.

– Справедливости, которая никому не нужна, – прошептал Лев.

Поначалу он еще пытался спорить с мужчинами, забредавшими в парикмахерскую, но вскоре убедился, что это бессмысленно: один незнакомец остановил его излияния нетерпеливым жестом и сказал:

– Дальше я знаю: он умер и его похоронили в обнимку с футбольным мячом. Люди не помнят зла. Под бокс, пожалуйста. Одеколонить не надо.

Когда же он – ради шутки – украл на базаре яблоко и никто этого не заметил, хотя видели все, включая торговку, Лев понял, что он и впрямь умер.

Он заколотил входную дверь, задернул шторы и отрастил бороду. Он устроился в парикмахерскую под другим именем и перестал обращать внимание на все усложнявшуюся историю того рокового футбольного матча, исход которого решил пенальти – несправедливый, как утверждали одни, – справедливый, не соглашались другие. С годами тех, кто принимал сторону судьи, становилось все больше. Бородатый парикмахер кивал, соглашаясь со всеми, но в спорах не участвовал: «Я ничего не понимаю в футболе. Да и когда это было? Лет пять или шесть назад? Височек прямой либо закосим?» – «Пожалуй, что и все десять», – задумчиво кивали старики.

По воскресеньям он отправлялся на кладбище, где подолгу сидел на лавочке в ограде, глядя на мутную фотографию веселого судьи с плоским свистком на жирной груди. Иногда он прихватывал с собою ведро с краской или молоток и гвозди. Могила была ухоженной. Раз в год из соседнего городка приезжала дочь, непременно появлявшаяся на кладбище с мужем и детьми. Она благодарила доброго человека, который ухаживал за могилой отца, и совала ему в руку бумажку-другую. Черная Борода наливал стакан водки: «Помянем Льва, хороший был человек, таких судей – поискать. И тот пенальти – слышали? – он назначил правильно». Поминали.

После кладбища Лев шел на стадион. Ограду давно повалили, ворота сгнили и упали, раздевалку растащили по кирпичику. По кочковатому газону бродили коровы и гуси.

Вечерами он допоздна засиживался в парикмахерской перед бездонным зеркалом, время от времени подливая в мензурку спирт из маленькой бутылки, спрятанной от уборщицы в тумбочке с инструментами. Пил, пока в зеленоватой глубине зеркала не появлялись лица футболистов, разинутые рты зрителей и счастливые глаза мальчишек, восторженно приветствующих судью традиционным «На-мы-ло!».

У него случился инфаркт. В больнице он открыл доктору Шеберстову свое подлинное имя.

– Я умер прежде смерти, доктор, – сказал он. – Я одинок.

Он рассказал о своих ежедневных трапезах: каждый день в супе плавал лавровый листок, оторванный от большущего венка, когда-то поднесенного ему болельщиками и игроками.

– Все мы умираем прежде смерти, – резонерски заметил Шеберстов. – И что имя? Звук.

– Но только имя и остается на памятнике, – возразил Лев, послушно глотая пилюлю.

Выйдя из больницы, он встретил Кольку Урблюда, который и в Белую столовую притащился в обнимку с зеленым чертом, вот уже несколько лет водившим с ним компанию. Была суббота, и Колька безудержно выкрикивал оскорбления в адрес тех, кто порушил мировой закон, отменив по воскресеньям футбол.

– А виноват во всем Котя Клейн, – заключил Колька. – Если б не его упрямство, если б не пенальти. . .

– Ложь, – заявил Лев. – Котя не виноват.

– Тогда судья виноват, – не унимался Колька, подзуживаемый чертом. – Кто-то же должен быть виноват, футбола-то – нет.

– И судья не виноват, – стоял на своем Лев.

Вконец запутавшийся Урблюд осыпал собеседника оскорблениями. И тогда По Имени Лев вызвал его на дуэль.

На следующий день городок встрепенулся от нестройного рева духового оркестра, и тысячи людей поспешили на стадион. Скотину прогнали с поля, установили новые ворота, в которых занял место По Имени Лев – в черной рубашке с белоснежным отложным воротничком, черных трусах и гетрах. В штрафной площадке кучковались игроки: вислобрюхий Яшка Бой, резиновый Кацо с четверкой сыновей, вечно что-то жующий и давно не молодой Молодой Лебезьян, сын Старого Лебезьяна, Серега Старателев с ржавыми зубами, Колька Урблюд в обнимку с чертом-приятелем, хмуρο поглядывавшим на Черную Бороду и Старшину, Толик, потешавший публику новым фокусом: кончиком языка он касался мочек ушей, Алимент и Иван Студенцов... Да, они приняли условие Льва: если хоть кто-нибудь забьет хоть один гол, судья-парикмахер повинится в ошибке перед всем честным народом, а с Коти будет снято обвинение в нечестности.

Первым по свистку пробил Яшка Бой. Это был коварный подкрученный мяч в нижний левый угол ворот, но Лев лишь лениво подставил ногу. Гола не было. Кацо ударил, как из пушки, в грудь вратарю – Лев принял мяч ладонями и тотчас отправил его под ногу Молодому Лебезьяну. Но ни Лебезьяну, ни Черной Бороде, ни Старшине, ни Сереге Старателеву, ни Толику, ни Алименту (который нарочно надел свою заветную бутсу с секретным гвоздем в подметке), ни Ивану Студенцову не удалось пробить вратарскую защиту. По Имени Лев согласился, чтобы за Котю Клейна пробил любой желающий. Таких желающих нашлось немало: бил дед Муханов, была старуха Синдбад Мореход, не выпускавшая из рук авоську с пустыми бутылками, бил Кальсоныч, была Буяниха, наскочившая на мяч, как кочет на курицу, бил участковый Леша Леонтьев, бил Прокурор, бил доктор Шеберстов, бил зеленый черт, старательно отводивший Льву глаза, и даже мне дали разок ударить, – безрезультатно, никто не смог забить гол, а Лев даже не вспотел, лишь становился все бледнее. И тогда Колька Урблюд снял с правой ноги красную повязку и ударил. Мяч замер в руках у Льва.

Лев вдруг осел, повалился набок – и замер с улыбкой на губах.

Он умер.

– И кто же выиграл? – шепотом поинтересовался Кацо.

– Мы, – прохрипел Урблюд. – И он.

Его похоронили с мячом в руках, в судейской форме, со свистком на жирной груди, и никогда еще Чекушка с Чекушонком не играли так слаженно и проникновенно «На сопках Маньчжурии» и «Амурские волны». На кладбище его провожали всем городком. Его могила – восьмая слева на вершине Седьмого холма. На памятнике начертано: «По Имени Лев. Лев Исаакович Регельсон. Парикмахер». И ни даты рождения, ни даты смерти, словно лежит в земле бесплотный дух, родственник бесплотному же закону: солнце восходит на востоке. Прокурор не пьет, по воскресеньям бывает футбол...

Братья мои жаворонки

Всю жизнь Чекушонок мечтал об одиночестве. На людях он смущался, терялся, норовил забиться в угол или за спины, лишь бы насмешники не заметили его и не стали привычно вышучивать его нелепую – клочковатую и кустистую – внешность. Голову его словно бы вылепил из пластилина неумелый и непоседливый ребенок, начавший да и бросивший – комком комком, неровный и со следами пальцев. Волосы у него на голове росли пучочками, кисточками, лохматыми кустиками, не желавшими объединяться во что-нибудь благообразное. Такие же ключья да кустики повылазили, когда юношей Чекушонок размечтался о бороде и пышных усах: вместо усов вышли веник да хвост – и тот жидкий и драный.

После смерти матери самым страшным человеком для Чекушонка стал отец, которого раздражал пятилетний бездельник, прятавшийся в уголке помечтать либо же почитать книжку. Отец возглавлял команду вечно пьяных музыкантов, игравших на свадьбах, похоронах да в перерывах футбольных матчей. Чтобы занять чем-нибудь сына. Чекушка притащил домой большой барабан и усадил сына за науку: «Бей!» Наука эта пришлась соседям не по нервам, и тогда отец взялся каждый день отправлять парня в сад, под старую яблоню, где испуганный Чекушонок, страдальчески морщась и смешно дрожа клочковатой головой, бил до потери смысла колотушкой по тугому барабаньему брюху. Бил и бил, чтобы успокоить отца: если Чекушка не слышал доносившихся из сада ударов, он тотчас бросался колотить сына. В конце концов и соседи привыкли к этим ударам, как к биению сердца. Но самому Чекушонку громкий звук мешал сосредоточиться на мечтах.

Продолжительное сидение над барабаном вызывало боли в спине и суставах. Отец, впрочем, не возражал против перекуров: «Но десять минут – не больше!» Чекушонок сваливался в траву, выгибался и бился, как в припадке, стремясь выкручиванием тела снять накопившуюся боль. Он сплетал ноги, складывал руки под спиной и засовывал нос под мышку. Перевернувшись на живот, доставал пятками уши. Лежа на боку, закидывал ногу на шею. И – замирал на несколько минут, переживая блаженство отдыха.

Когда однажды Чекушка увидел его неподвижным в неестественной позе, он испугался. И Чекушонок от страха утратил дар речи и так зажмурился в ожидании удара, что даже веки свело судорогой. Однако отец не тронул его. Он на цыпочках выбрался из сада и бросился в больницу. «Кататоник, – сказал доктор Шеберстов. – Это от жизни, браток». И тем еще сильнее напугал пьяненького Чекушку.

Чекушонок же обрадовался, вскоре уяснив, что отец боится его неестественных поз, и с того дня, если ему вдруг хотелось побыть в одиночестве, готов был изображать едва ли не любую фигуру, явившуюся в бреду сумасшедшему геометру. Путем долгих тренировок он научился выворачивать суставы, придавая неестественным позам вполне естественный вид. Зато теперь, стоило ему замереть в форме восьмерки, его тотчас оставляли в покое, и он часами мог наслаждаться одиночеством, беспрепятственно грезя и фантазируя. Он понял: свобода – это неестественность.

Мечтал же он о выигрыше в лотерею. С замирающим сердцем слушал он истории о счастливых, получивших на сдачу в хлебном лотерейный билетик и оказавшихся в результате – «Не думал, не гадал!» – обладателями автомобиля, шерстяного одеяла или авторучки. Вчера еще человек был как все – и вдруг, благодаря случаю, становился другим человеком, перехитрившим Закон. Лотерея стала для Чекушонка символом свободы, вырывающей человека из ржавых цепей Закона. Не думал, не гадал – и вдруг! О, это «вдруг»! Нет, он, Чекушонок, пожалуй, не взял бы ни машину, ни одеяло, ни даже авторучку, – получил бы деньгами и купил что-нибудь совершенно бесполезное: уж воля – так воля вольная. Что? Хрустальную вазу. Носовой

платок. Певчую птицу. Впрочем, купить птицу за деньги значило бы вступить в сговор с Законом. Птицу он не стал бы покупать.

Птицы вызывали у него зависть и восторг. Хотя зависть и восторг вызывало у него все, что хоть чуточку выбивалось из рамок, в которые Чекушонка старательно вгонял отец. Мальчик завидовал тем, кто позволял себе не застегивать верхнюю пуговицу рубашки, причесывался пятерней, ложился спать после десяти, швырял камни в окна и подглядывал в пятницу за женщинами в бане. Но люди, тяжелые животные и вещи подчинялись законам, установленным отцом, который мог наказать собаку или разломать вредный стул. Птицы – не подчинялись, потому что летали. Маленькие, нечистые, безмозглые, несколько тонких косточек, горстка перьев и наперсток крови. Возможно, думал Чекушонок, в древности летали и другие животные, и даже люди: недаром же им временами снится, будто они летают.

Известно, что способность к речи заключена в языке: отрежь его – и человеку останется только мычать, как соседу Афиногену, которому пришили оторванный на фронте осколком язык, но пришили не той стороной, и старик не мог говорить. Значит, и у птиц должен быть орган, содержащий способность к полету. Но Чекушонок его так и не обнаружил, хотя не одну птицу распластал бритвой на ленты и ниточки. Находил косточки, какие-то сизые пленки и кишки – и больше ничего.

Впервые увидев рентгено снимок своей грудной клетки, Чекушонок сделал потрясшее его открытие: человек пуст. И хотя похожая на сморщенную обезьянку рентгенолог мадам Цитриняк объяснила ему, что это не так, Чекушонок остался при своем мнении. Человек пуст. Он состоит из воздушных полостей, заполненных белесовато-голубым туманом, в котором свободно плавают полупрозрачные сердце и печень, ребра и серая вата легких. Он принялся собирать свои рентгено снимки и вскоре накопил целую коллекцию. Доктор Цитриняк иногда уступала его настойчивым просьбам и делала лишний снимок его неровной головы или руки. В комнате Чекушонка повсюду – на абажуре и окнах, на стенах и дверце платяного шкафа – висели на ниточках колеблемые током воздуха рентгено снимки, которые свидетельствовали только о том, что способность к полету издревле присуща человеку, а теперь она просто растворилась в его организме.

Когда парень подрос и окреп, отец взял его в оркестр. Чекушонок бил в барабан на похоронах и в перерывах футбольных матчей, смешно дрожа неровной головой и тоскливо взирая на праздники смерти и праздники жизни. Вслед за отцом он пристрастился к выпивке, но пьянел быстро и неумело, вечно вызывая у собутыльников неудержимое желание стукнуть его по физиономии. Не за что-то, а именно – просто так.

Вслед за отцом он наладился заходить к Зойке-с-мясокомбината, известной городской блуднице, обладавшей ужасающей женской силой благодаря питанию сырой говядиной. Зойка работала на мясокомбинате бойцом и любила приканчивать свиней потощее ударом об пол, держа их за задние ноги. Баба она была ненасытная до водки и мужчин, которые, впрочем, побаивались ее неумного и злого языка. Почему-то не трогала она одного Чекушонка: возможно, потому, что и рассказывать о нем было нечего. Он ничего не требовал от женщины. Мог просидеть в уголке весь вечер, не вымолвив ни слова, глядя перед собой в одну точку. Здесь его не донимали расспросами, не спрашивали, почему сидит и молчит и чем думает заняться завтра. Зойка стряпала, стирала, мыла голову или напивалась в одиночку, забывая о Чекушонке. Иногда он вдруг нарушал молчание каким-нибудь вопросом:

– О чем ты, Зойка, например, мечтаешь?

Зойка отрывалась от созерцания собственного мизинца, который по мере погружения хозяйки в опьянение то двоился, то вырастал в чудовищный член с кривым ногтем, особенно ее забавлявшим, и обстоятельно отвечала:

– Мне еще никто никогда не говорил: я тебя люблю, Зойка. Понимаешь? – Останавливала его энергичным жестом. – И вот я думаю, например: вдруг бы нашелся такой человек да сказал

бы: я тебя, Зойка, люблю, – о! – Она сладостно ухмылялась. – Как бы я ему плюнула в рожу! А потом бы еще разок харкнула. И ногой бы – сюда! – Показывала куда. – И еще разочек! Вот, например, так! А потом бы повалила мордой в дерьмо – и вывозила.

Чекушонок задумчиво кивал.

У Зойки он хранил коробку с птицей. Впервые увидев ее, женщина удивилась:

– Зачем тебе?

– Хочется. – Чекушонок бережно взял в руки крошечную птичку из перышек, железок и проволочек. – Третий год делаю, все глаза проел. Как живая.

– Но зачем? – не унималась Зойка, с интересом разглядывая игрушку.

– Чтоб была как настоящая. Чтоб летала.

– Ну и полетит – и что? Птенцов у нее не будет. Полетает да и заржавеет, голуби ее обосрут, свалится в канаву, и всё... Бог их каждый день тыщами делает – тебя не спросившись, и летают, и птенцы у них...

Чекушонок уныло кивал.

– Мечтать-то хочется. Хоть о чем-нибудь.

– А еще отца ненавидишь... Одного вы поля ягоды. Дух-то в нее разве вставишь? А без духа она труп, лучше б и не было. Левша!

Но Чекушонок был непреклонен, хотя, конечно, и себе не мог объяснить, зачем делает птицу.

Они снились ему, и он разговаривал с ними. Первой трудностью, как выяснилось, было обратиться к птицам. Как? «Ребята», «мужики», «парни», «бабоньки» – все не подходило. «Братцы»? Это было лучше, но не все птицы откликались, то есть не всем такое обращение нравилось. «Братцы вороны» – разве звучит? Разве так скажешь? «Братец ворон» – еще куда ни шло, но – и только. «Братцы воробьи» – сомнительно. А вот «братцы жаворонки» или даже «братья жаворонки» – звучало неплохо. Почти здорово.

Сны о птицах были радостны. Он взлетал и беседовал с жаворонками, употребляя такие слова, какие постеснялся бы употребить в дневной жизни. Ну, скажем, «любовь» или что-нибудь в этом роде. Пробуждения же были тягостны и горьки. Тяжесть собственного тела казалась унижительной.

– Несчастный ты, – говорила Зойка, выслушав бессвязные его рассуждения. – Или просто нормальный: счастливых-то – не должно быть...

– То есть не бывает?

– Не должно быть, – стояла на своем Зойка. – Появись хоть один счастливый – и весь мир развалится. И молчи!

Чекушонок вырослел, старел, играл на барабанах, неумело пил водку, покупал лотерейные билетки. Ему исполнилось сорок лет, когда он, наконец, завершил свою птицу-игрушку. Он разговаривал с ней, пел, кричал, умолял, часами дышал ей в разинутый клювик – все было бесполезно: она не полетела. Он понял, что и не полетит. Поставив коробку с игрушкой на полку рядом с плюшевым зайцем и фаянсовой кошкой-копилкой, Чекушонок запил. Через несколько дней он выиграл в лотерею холодильник, но не обрадовался. На вырученные деньги устроил пьянку. Его отец перебрал и принялся избивать Зойку. Чекушонок вдруг расхорохорился и вступился за ничтожную бабу. Распалившийся Чекушка избил обоих. Первой очухалась Зойка. Услышав доносившееся из угла тонкое поскуливание пьяного и избитого Чекушонка, женщина впала в ярость и набросилась на него. Била, пока у него кровь горлом не пошла. Потом рухнула в постель и заснула тяжелым, словно чужим, сном.

Чекушонок взял коробку с птицей и, постанывая и шатаясь, убрался домой. В своей комнате поставил коробку на подоконник, лег, обвел взглядом неприглядное свое жилище, где на ниточках висели десятки рентгеновских снимков его внутренностей, – и умер, успев принять

перед смертью фантастически неестественную позу, чтоб и после смерти его не трогали, чтоб и после смерти – оставили в покое.

И вот когда и эти глаза закрылись и никто уже не мог этого видеть, птица выбралась из коробки, свистнула, взмахнула крыльями и улетела.

Когда его похоронили, Буяниха вдруг ни с того ни с сего изрекла:

– Если есть Бог, то должен быть и Чекушонок.

Только эти слова люди потом и вспоминали, самого же Чекушонка – забыли.

Пятьдесят два буковых дерева

Семья Засс приехала с Урала в начале пятидесятых и поселилась в двухэтажном светлом домике под черепичной крышей, стоявшем у Фридландского шоссе на выезде из городка. Сивоусый, широкий в кости Август Засс устроился в лесничестве, где вскоре занял должность главного лесничего. Это был строгий суховатый человек, никогда не смеявшийся, очень редко улыбающийся и всегда трезвый. Он носил брезентовую куртку цвета хаки с карманами на заклепках, форменную фуражку и высокие кожаные сапоги. Детей у Зассов не было.

Лену же Засс никто никогда не видел – ни живой, ни мертвой. Многие даже сомневались в том, что в доме у Фридландского шоссе есть хозяйка, хотя по бумагам Август числился женатым. Фрау Засс, как ее тотчас заглазно прозвали в городке, не появлялась ни на базаре, ни в магазинах, ни даже – что серьезнее – в общественной бане, стоявшей у слияния Преголи и Лавы. Соседей у живших на отшибе Зассов не было, гостей они не звали. Зашедший к ним однажды участковый милиционер Леша Леонтьев был радушно принят, напоен чаем с вареньем и коньяком, но хозяйку увидеть не сподобился. «Живет – и пусть себе живет, – сказал Леша. – Чтобы скрыться по-настоящему, человеку всегда нужны другие люди...»

Поздно вечером, когда городок отходил ко сну, Август запрягал крепкого серого конька в повозку с кожаным верхом, опускал полог и отправлялся колесить по улицам. Колеса повозки со звучным хрустом мололи красный кирпич мостовой на Семерке, дребезжали по тесаным, плотно пригнанным мелким гранитным кубикам, которыми была вымощена Липовая, и громко бухали по булыжникам у базара – и весь городок знал: Август катает свою фрау. Она тряслась в возке, придерживая рукой кожаный полог и вглядываясь в дома, деревья и заборы, которых по какой-то причине не могла видеть при дневном свете. Так продолжалось больше тридцати лет, до самой ее смерти.

Все женщины в городке были почему-то убеждены в том, что Лена Засс удивительно, необыкновенно красива, и потому-то Август и не позволяет ей показываться на людях: боится соблазна. В конце концов – быть может, именно потому, что никому ни разу не удалось увидеть ее лица, – это убеждение возобладало: Лена Засс удивительно, необыкновенно красива, а значит, Август имеет право прятать ее от чужих глаз. На то и красавица. При этом, правда, не затыкали рот и тем, кто считал, что она просто чем-нибудь больна. Возможно, что ее красота и болезнь были таинственным образом связаны. Однако доктор Шеберстов ничего про болезнь фрау не знал. Поэтому Колька Урблюд в подпитии и говорил: «Зассиха так уродлива, что показать ее людям было бы равнозначно покушению на общественную нравственность». «Настоящая красота всегда болезнь и покушение на общественную нравственность, – возражал хромой библиотекарь Мороз Морозыч. – Красота – это вызов». И долго и нудно рассуждал о красоте внешней, телесной, и внутренней, душевной и духовной, всякий раз завершая свои речи чужими стихами: «Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» Но жители городка, вовсе не склонные разводить философию, хотели лишь одного: ясности. Нельзя же признать красавицей женщину, которую никто не видел. На какие только ухищрения не пускались любопытные – все было напрасно: Август бдительно стерег жену.

Иногда вечерами, вместо катания в кожаном возке, супруги Засс предпринимали вылазку в буковую рощу, насчитывавшую ровно пятьдесят два дерева – они росли в сотне метров от их дома на невысоком холме, отлого спускавшемся в пойму Лавы. Это был жалкий клочок, оставшийся от тех бескрайних буковых лесов, которые когда-то покрывали земли между Вислой и Неманом. Август считал эту рощу своей, берег ее пуще глаза и ради нее даже изменял своей манере сухой правильной речи, почтительно именуя дерево – деревом. Только бук для него и был – деревом. Каждый день он пересчитывал буки, словно поклялся сберечь именно пятьдесят два дерева, не меньше. Может, пятьдесят два было для него число магическое?

Разглядывая красавиц на иллюстрациях к Дюма и Чехову, я пытался представить себе фрау Засс, но, разумеется, безрезультатно. Воображение подростка бедно: он может сочинить историю, но не лицо или характер. Что же это за женщина была, если ее нужно было прятать, как Железную Маску? Какая она? Как Буяниха, за которой, как говорили, когда-то ухаживали наперебой все мужчины городка, кроме сумасшедших? Как Зойка-с-мясокомбината, к которой вечером мог постучаться любой мужчина, способный купить бутылку вина? Как соседская девочка, любившая дразнить мальчишек своими толстыми ляжками, с ужимками демонстрируя их сквозь деревянную решетку балкона? Или как та дама, современница Петрарки, которой властями Авиньона до семидесяти лет было разрешено появляться только под вуалью на балконе не чаще одного раза в неделю, дабы красота ее не послужила причиной опасных массовых волнений? А может быть, она была тем ананасом, о котором жители городка вспоминали всякий раз, когда не находили слов для высшей похвалы, хотя, конечно же, никто из них тогда не знал вкуса ананаса. С иллюстраций смотрели очаровательные женщины, девушки, ангелы – но что же привлекало в них? Наверное, в таком же положении оказался французский поэт Венсан Вуатюр, который, отчаявшись поймать красоту сетью слов, 24 января 1642 года в одном из знаменитых своих «Писем» определил то, что неуловимым образом очаровывает и обольщает нас, одной фразой: «*Je ne sais pas quoi*» – «Не знаю-что-это-такое».

Летним вечером, в час заката, я пробрался в буковую рощу на холме с единственной целью – увидеть таинственную красавицу. Освещенные светло-розовыми и еще теплыми солнечными лучами гладкие серые стволы стояли как храмовые колонны, возносясь над полом, выложенным мозаикой резных буковых листьев. Легкий ветерок пошумливал высоко в кронах. С полчаса я бродил по рощице, удивляясь отсутствию подростка, как вдруг услышал негромкий мужской голос. Спрятаться здесь было трудно: роща просматривалась насквозь. Я заметался, наконец плюхнулся в неглубокую яму и зарылся в палую листву. Сердце мое громко колотилось, заглушая звук приближающихся шагов.

– Устала? – спросил Август.

– Нет, – ответила женщина.

Я не смел поднять голову, чтобы не обнаружить себя: они находились в двух-трех метрах от меня. Наконец их шаги стали удаляться. Немного выждав, я привстал и посмотрел им вслед. На руку Августа опиралась невысокая худенькая женщина. Мне показалось, что она слегка прихрамывает.

Совершенно ошалевший от пережитого приключения, я сел и огляделся. Светило заходящее солнце, еле слышно шелестела в вышине листва. Что же случилось? Я слышал ее голос, видел ее со спины – вот и всё. Откуда же тогда взялось странное ощущение, будто только что произошло нечто важное? Быть может, все дело было в моем возбуждении? Эта залитая светло-розовым светом роща, этот шелест листвы, эта таинственная пара... Черт возьми, в отчаянии подумал я, ну какой смысл в том, что он прячет ее ото всех? Какой смысл в ее жизни? Такой же, какой в существовании этой рощи, в розовом свете заката, в шелесте листвы?..

Я еще долго бродил по роще, считая и пересчитывая буки (пятьдесят два, пятьдесят два...) и пытаюсь проникнуть в магический смысл бессмысленного числа. А вдруг в следующий раз буков окажется больше или меньше? А вдруг это все изменит, и разверзнутся небеса, и откроется нечто такое, до чего иногда добираться в глубоком сне, но не успеваешь достигнуть и просыпаешься? Тайна красоты вымогала магию цифр... (Годы спустя я прочел у Де Куинси в «Автобиографии»: «Даже бессвязные звуки бытия представляют собою некие алгебраические задачи и языки, которые предполагают свои решения, свою стройную грамматику и свой синтаксис, так что малые части творения могут быть сокрытыми зеркалами наибольшими».) Разумеется, тогда ничего не произошло, буков было пятьдесят два, я начал мерзнуть и был вынужден тащиться домой через топкий луг, мимо старого немецкого кладбища.

Вскоре она умерла. На похороны собралось множество народа, но Август и на этот раз всех перехитрил: Лену хоронили в закрытом гробу.

И сейчас иногда я просыпаюсь от звучного хруста рыхлого красного кирпича под колесами кожаного возка, от дребезжания их по тесаному граниту Липовой и громкого перестука на булыжной мостовой у базара – и долго стою с сигаретой у окна, выходящего на ярко освещенный вестибюль метро с алой буквой «М», и думаю о том, что по-прежнему ускользает от слов, но без чего немислима жизнь. Что это? *Je ne sais pas quoi*. Не знаю: тайна Лены Засс осталась неразгаданной.

Фарфоровые ноги

Обувной магазин находился на центральной – и единственной – площади городка, вымощенной сизым тесаным булыжником, по которому в редкие солнечные дни медленно, как часовая стрелка по циферблату, перемещалась тень безверхой кирхи. Прежде чем упасть на плоскую крышу павильончика, где торговали пивом, влажными сигаретами и бутербродами с сухими скукоженными ломтиками колбасы, похожими на палые осенние листья, тень величественно вливалась в витрину обувного магазина, украшенную двумя фарфоровыми женскими ногами в туфлях на высоких каблуках. Еще дюжина таких же ног – белых, желтых и розовых – была расставлена в помещении, пропахшем кожей, ваксой и табаком «Амфора» от трубки хозяина магазина – Капитана Леша, чье обтянутое белой войлочной бородой лицо посетители видели только сквозь завесу голубоватого ароматного дыма. Когда его спрашивали, где он добыл эти ноги, Капитан отвечал: “Валялись без дела в подсобке...”

И хотя другого обувного магазина в городке не было, женщины не очень-то любили сюда заглядывать. И все из-за фарфоровых туфелек, белевших в углу на фанерной подставке, обтянутой малиновым плюшем. Находилось немало желающих примерить эти туфельки, но за тридцать лет они никому не пришлось впору, что, конечно же, оскорбляло женское самолюбие. Признанная красавица Нина Логунова, не добившись успеха с первого раза, после этого нарочно три дня вымачивала ноги в горячей воде с водкой и глицерином и еще три дня выдерживала их в горячем вазелине, пока они не стали такими мягкими, что могли безболезненно пройти в замочную скважину, – но и ей, в конце концов, удалось лишь кое-как втиснуться в фарфоровые туфли, а уж сделать в них хоть шагоч – об этом не могло быть и речи.

– Так какие ноги для них нужны? – возмущенно воскликнула Нина. – Стройные? Кривые? Толстые? Тонкие?

– Красивые, – с грустью ответил Капитан Леша. – А что это такое, я не знаю.

Провожая восхищенными взглядами какую-нибудь красавицу, проплывавшую по Семерке в клуб на танцы, мужчины причмокивали: «Ну будто в фарфоровых туфлях идет!» Капитан Леша только скептически хмыкал: «Разве что – будто...»

Женщины недолюбливали его. Из уст в уста передавалась история о стареющем одиноком мужчине, который вечерами, под видом уборки помещения, не просто протирает тряпкой фарфоровые ноги, но – гладил, ласкал и чуть ли не – тьфу! – целовал их.

Жил он холостяком в квартирке на Липовой, над овощным магазином, продавщица которого – Фигура (обязанная прозвищем своей совершенно кубической фигуре с кубической грудью и кубическими же ногами, а также тому, что переводила магазинные овощи, картошку да морковь, вырезая из них забавные фигурки, которые выставлялись в витрине) – иногда делила с Капитаном Лешей одинокие вечера. Когда-то Леша служил матросом на траулере, но в результате несчастного случая охромел и был списан на берег. Компаний он чурался, но иногда выпивал в одиночку (таких в городке называли «одноватыми»). Фигура говорила, что дома у него бережно хранится портрет бывшей жены – неопикуемой красавицы, и городские сердцеведы принялись было сплетать душераздирающую историю любви и измены, но тут Колька Урблюд, которого Леша попросил помочь в ремонте квартиры, опознал в фотокрасавице Мэрилин Монро, и история скончалась при родах.

В тот день восемнадцатилетняя Лиза Столетова в обувном магазине оказалась случайно: во владения Капитана Леша ее загнал бурный летний ливень. Хозяин пыхнул трубкой, сонно взглянув на невзрачную девушку в стареньком ситцевом платье, и вновь приспустил веки, возвращаясь то ли в сон, то ли в воспоминания (что, впрочем, одно и то же). Быть может, поэтому и не сразу дошел до него смысл вопроса, заданного Лизой, – он моргнул, закашлялся и, разгоняя дым рукой, подался к ней так резко, что под ним затрепал легкий стульчик.

- То есть... ты хочешь...
- Другим можно, а мне – нет?

Капитан Леша перевел взгляд с ее лица – улыбке мешал испуг – на ноги в рублевых босоножках, из которых торчали пальцы с траурной каймой под ногтями, безыскусно обкусанными при помощи портняжных ножниц, и почему-то именно эти пальцы вызвали у хозяина приступ веселья.

- Валяй! – сказал он со смехом. – Жила не была!
- Была не жила! – засмеялась Лиза.

И не успел Капитан Леша поднести руку к лицу, чтобы смахнуть выступившую от смеха слезу, как Лиза уже стояла перед ним в фарфоровых туфельках.

– А ну-ка пройдишь, – прошептал Леша. И вдруг, сорвавшись, заорал во всю глотку: – Пройдишь, тебе говорят, шагай!

Лиза шагнула, повернулась и, сделав несколько стремительных и ловких танцевальных движений, с выжидательной улыбкой остановилась перед Капитаном Лешей.

- Еще, – хриплым шепотом попросил он. – Ещё... пожалуйста...

Не прошло и часа, как на площади перед магазином образовалась огромная толпа. Не обращая внимания на дождь, изумленные люди молча взирали на замарашку Лизу в фарфоровых туфельках на высоких каблуках. И никто не мог понять, что же такого особенного в этой невзрачной девушке? Почему именно ей туфли пришлось впору? Ноги как ноги, фигура как фигура, лицо как лицо – если и запомнится, то разве что с третьего взгляда...

Что же произошло? Что случилось? А что произошло нечто значительное – в этом уже никто не сомневался.

– Ну и что же это за ноги такие? – прервала молчание Нина Логунова, и в голосе ее недоумения было не меньше, чем раздражения. – По-вашему, красивые?

- Фарфоровые, – после недолгих раздумий изрек Капитан Леша.

Он бережно помог Лизе переобуться и сказал:

- Подарю тебе их в день свадьбы.
- Договорились, – кивнула Лиза.

И никому и в голову не пришло связать по поводу будущего замужества вчерашней замарашки.

- Эх, если б мне было восемнадцать! – вздохнула Граммофониха. – Я б тоже...

Но что «тоже» – не сказала.

– Если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой, – глубокомысленно изрек дед Муханов, поворачиваясь к Граммофонихе спиной. – Подумать только: фарфоровые ноги!..

Через полгода Лиза вышла замуж за хорошего парня. Капитан Леша сдержал слово: в день свадьбы он торжественно вручил Лизе обещанный подарок. И сияющая Лиза, в фарфоровых туфельках еще более стройная и красивая, первый вальс – по всеобщему требованию – танцевала с хромым Лешей.

Спустя семь лет Капитан Леша умер. Его нашли в обувном магазине с погасшей трубкой в судорожно стиснутых зубах, в окружении прекрасных фарфоровых женских ног – белых, желтых и розовых...

К тому времени Лиза стала матерью двоих детей. Закончив курсы бухгалтеров, она работала на маргариновом заводе, где ее муж Иван дослужился до начальника электроцеха. Ноги ее располнели, стали студенистыми и рифлеными от толстых, как бельевые веревки, вен. Но ежегодно, в день свадьбы, она легко и свободно надевала все те же фарфоровые туфли на свои желтые, безнадежно ороговевшие ступни тридцать восьмого размера – бог знает, как это получалось, но раз в году – получалось, – и всякий раз муж вспоминал, как Капитан Леша назвал ее ноги фарфоровыми, хотя что это такое – никто не знал, как никто не знает, что такое красота, любовь или смерть...

Ванда Банда

До самой смерти ее мать была убеждена, что внутри у нее живет лягушка, которая проникла в желудок – а оттуда в печень – головастиком, когда женщина однажды в лесу утолила жажду из придорожной лужи. Чтобы избавиться от неприятного ощущения, она глушила лягушку водкой, пока в один прекрасный день взбесившаяся рептилия не укусила ее в сердце.

Ее отец был известен лишь тем, что, в отличие от других забойщиков скота, пользовавшихся ножами, приканчивал созревшую свинью ударом головы. Ничего не подозревавшее животное удивленно взирало на невзрачного мужчичку, приближавшегося к жертве на четвереньках, и вот тут-то он хватал свинью за уши и бил лбом промеж глаз. На спор он заколачивал лбом гвозди в стену. В конце концов его нашли в свином закуте, где у него разорвалось сердце. За ночь животные объели у него все выступающие части лица, поэтому хоронить его пришлось в закрытом гробу.

Люди как люди. Как все. Вот у них-то и родилась Ванда Банда, самая сильная в мире женщина, чью верхнюю губу украшали усы, твердые и острые, как щучьи ребра, а левую ногу – до колена – сшитый отцом из свиной кожи грубый ботинок на шнуровке. Этот ботинок, по преданию, Ванда никогда не снимала, не чистила и не мыла.

Ее необыкновенный дар проявился уже в раннем детстве, когда семилетняя девочка принесла домой упившуюся мать и только тогда обнаружила, что всю дорогу матушка не выпускала из рук мешок с украденной на ферме трехпудовой свиньей.

Одноклассники вскоре поняли, что с Вандой, получившей прозвище Банда, лучше не связываться: одним ударом она валила десяток хулиганов, забор, возле которого происходило дело, и корову, забравшуюся в палисадник и тайком пожиравшую цветы. Повзрослев, она для устрашения противников голыми руками разорвала пополам живую кошку.

Созревала она пугающе быстро. Что бы она ни надевала на себя, даже если вещь была впору, одежда трещала по швам и лишалась пуговиц, сыпавшихся с Ванды, как переспелые вишни. Мальчики слепо преследовали ее, с хрустом дробя каблуками пуговицы и умоляя снять ботинок с левой ноги. Позднее на ее верхней губе пробились усики – твердые и острые, как щучьи ребра. Она украшала их крошечными серебряными колокольчиками, чей непрерывный тонкий звон вызывал у мужчин смещение сердца к мочевому пузырю.

Не понимая, что с нею происходит, Банда потерянно бродила по дому, натываясь на мебель и задевая дверные косяки. Висевшая на стене в гостиной гитара при ее появлении начинала гудеть, и со временем звук становился громче, пока однажды не полопались все струны.

Когда же она в женской парикмахерской спросила у немой Тарзанихи (получившей прозвище после смерти мужа, когда она принялась раз-другой в месяц забираться на дерево во дворе, чтобы побыть в одиночестве), что все это значит, парикмахерша припудрила зеркало и вывела пальцем на стекло – «лебовь».

– И что? – не поняла Ванда, ужасно покраснев. – Что это такое?

– Это что-то вроде уродства, – объяснила Буяниха. – То, без чего ты не можешь обойтись, хотя и хотела бы. Ну, скажем, горб у красавицы. Или красота.

После смерти родителей Ванда устроилась грузчицей на мукомольный завод, где в одиночку за смену разгружала пять-шесть вагонов с зерном, и завела кота – черного зверюгу, вскоре ставшего грозой и любимцем кошачьей округи. От диких его воплей Вандино сердечко переворачивалось и гнало кровь в обратном направлении. Она думала, что кот мучается своей безымянностью, но предложение Буянихи назвать его Чертом тотчас отвергла:

– Этого? Тогда он обязательно и станет чертом.

Она подолгу не засыпала, боясь темноты, как в детстве боялась цыгана, – от страха темнота становилась такой густой, что сновидения увязали в ней и не могли добраться до Вандиной постели. Среди ночи она вскидывалась и хохотала глупым оперным басом.

Измученная бессонными ночами и кошачьими криками, Ванда однажды кастрировала своего черного зверя и привязала шелковой ленточкой к ножке стола в гостиной. Теперь, едва завидев ее, кот всякий раз испускал ужасный вопль и вставал на дыбы, норovia сожрать хозяйку, и с такой силой дергал стол, что ваза с цветами неизменно летела на пол. На него не действовала ни ласка, ни таска. В конце концов, Ванде пришлось оставить кота в покое. Она наловчилась покидать дом через окно спальни.

И вот, наконец, она влюбилась.

И как!

И в кого!

Это был мужчина тридцатисантиметрового роста. Она нашла его в саду возле свежей кротовины и решила было, что это крот какой-то неведомой породы. Преодолев мгновенное и непровольное отвращение, она подняла его на ладони к глазам и убедилась, что перед нею самый настоящий, самый всамделишный человек, мужчина со всеми его атрибутами (он был наг), дрожащий от холода и страха, явственно читавшегося на его личике. Он был гармонично сложен, красив и беспомощен. Он протянул руки к Ванде и что-то проговорил то ли на кротовьем, то ли на птичьем языке. Девушка засмеялась, поднесла его ближе к губам, человечек уколосся усом – твердым и острым, как щучье ребро, – и вскрикнул, девушка испугалась, сердце ее перевернулось, погнав кровь в обратном направлении, и тут-то она и поняла, что влюбилась, и произнесла это вслух таким голосом, каким говорят: «Я умираю», или: «Я убила его», или: «Я наделала в штанишки».

Целый год человечек прожил в ее спальне, прежде чем она убедилась, что это не ребенок, а зрелый мужчина, достигший предела в росте. Она назвала его Мыней, образовав прозвище от слова «мышонок». Она соорудила ему одежду и постель, купила игрушечную мебель и посуду и заколотила дверь в гостиную огромными ржавыми гвоздями, чтобы человечек случайно не стал жертвой кровожадного черного кота.

Влезая после работы в окно спальни, она испытывала неведомую ей прежде радость лишь оттого, что в уголке, где было устроено Мынино жилье, горит свет (в роли светильника выступал карманный фонарик), что человечек цел и невредим и даже, кажется, рад ее возвращению. Ванда тотчас бросалась в кухню готовить для Мыни что-нибудь вкусенькое, а потом с умилением наблюдала за тем, как он орудует кукольной вилкой и кукольным ножом...

Ванда мучилась немотой, постепенно осознавая, какая это опасная болезнь – любовь. Ей хотелось поведать Мыне о своих чувствах, и она не раз пыталась сделать это, однако ей не давалась даже простейшая фраза – «Я тебя люблю». Она выучила ее наизусть, но так и не смогла двинуться дальше местоимений. Слово же «люблю» застревало в горле, вызывая удушье. Тогда Ванда попробовала обойтись без него: «Я... тебя... понимаешь? Я – тебя...» И строила умильную физиономию, на которой были глаза, нос, губы и усы с колокольчиками, но не было слова «люблю». Она попыталась выразить чувство жестами, но все кончилось тем, что, ткнув пальцем в грудь себя и Мыню, она упала в обморок, каковой мог означать что угодно. Она зажигала спичку, чтобы объяснить Мыне, как она пылает. Она пила воду, чтоб он понял, как она жаждет. Наконец она прибегла к самому сильному средству, с трудом выдавив из себя единственную известную ей фразу на литовском языке: «Аш тавя милю», – но и это усилие оказалось бесплодным.

Человечек с любопытством и тревогой следил за Вандиными ужимками, но, кажется, ничего не понимал.

Ванда мучительно размышляла о слове «любовь», недоумевая, почему именно оно должно выражать то, что чувствует она, Ванда (а не тот человек, который, возможно, изобрел

это слово для себя и своих чувств), и не обман ли это, и нет ли более подходящих слов, которые не действовали бы на ее язык подобно уколу анестезина перед удалением зуба...

Наконец девушка сообразила, что они должны научиться понимать друг друга, и взялась учить Мыню русскому языку. Поскольку Ванда не читала ничего, кроме школьных учебников, Мыня скоро освоил весь ее словарь. Теперь он понимал, что стул – это стул, а окно – это окно. Однако он не понимал, что любовь – это любовь. Ванда прибегла к самому обыкновенному и самому пагубному средству: она записалась в библиотеку и принялась читать книги. Как и следовало ожидать, даже то, что было ясно вчера, отныне превратилось в нечто зыбкое и ускользающее...

Совершенствуясь в шитье лилипутской одежды и изготовлении миниатюрной мебели, Ванда думала о Мыниной родине. Откуда он? Где находится страна, населенная крошечными человечками, мужчинами и женщинами, щебечущими на птичьем языке, в котором слово «любовь», возможно, означает что-нибудь иное или, маленькое и слабое, вовсе лишено тяжести смысла, озабоченное разве что выживанием в маленьком, слабосильном словаре? Разве сравнится их слово с «любовью» Ванды, голыми руками разорвавшей пополам живую кошку. А какие там птицы и кошки? Не может же быть, чтобы такие крошечные коты испытывали такие же чувства – к птицам ли, людям ли, все равно, – какие испытывает зверь в ее гостиной, вмещающий столько злобы в черном бесполом теле...

– Ты жил под землей? – спрашивала она Мыню.

– Нет.

– На небе?

– Нет. В гдетии.

– Кем же ты там был?

Ей хотелось, чтоб в этой самой «гдетии» он был принцем, хотя она не знала, где эта страна и какое там государственное и политическое устройство (как в муравейнике? в пчелином рое?).

– Я был аретом.

– Принцем?

– Аретом великой тефелы. Я лепулил для такси.

Иногда она испытывала что-то вроде ревности к возможной сопернице из иного мира и готова была уничтожить неведомую страну, чтобы Мыня не смог туда вернуться. Словно отвечая этому темному движению ее души, черный кот в гостиной грохал столом и гнусаво орал. Ванда спохватывалась, гнала дурные мысли, утешаясь тем, что Мыня по собственному желанию никогда не заговаривал ни о своей родине, ни о возвращении.

Мыня освоился в чужом мире. Он уже отваживался на продолжительные прогулки по спальне и кухне. А однажды вернувшись с работы Ванда обнаружила его в гостиной. Можно вообразить, каких усилий стоило Мыне взобраться по свисающему краю одеяла на хозяйкину кровать, перебраться на стол, с него на подоконник, спуститься в сад, а затем – видимо, его привлек тяжелый кошачий запах из открытого окна – по плющу подняться в жилище черного зверя. Кот кричал дурным голосом, встав на дыбы и разинув злую алую пасть, дергал стол и пытался когтистой лапой дотянуться до человека, который дерзко бегал в опасной близости от зверя.

Ванда унесла Мыню в спальню. После этого случая она задумалась: как уберечь человека от опасностей, подстерегавших его в этом мире? Выход один: надо поместить его в клетку Закона, управляющего этим миром.

Председатель поссовета Адольф Иванович Кацнельсон по прозвищу Кальсоныч отмалчивался, а у Ванды спрашивать было и вовсе бесполезно, поэтому так никто и не узнал, каким образом утрясли вопрос о документах, необходимых для бракосочетания. Скорее всего, Кальсоныч за бутылку самогона состряпал для мышонка бумаги, удостоверяющие, что тот действительно является человеком. Переговоры велись за закрытыми дверями. Однако уже на следу-

ющий день весь городок знал, что Ванда Банда выходит замуж за карлика. А может быть, за кролика. Или даже за ученую крысу.

По соображениям конспирации церемония была назначена на раннее утро, но Ванде стало известно, что поглазеть на ее суженого сбегутся все, кроме умирающих, новорожденных и заключенных местной тюрьмы. Это, однако, не поколебало ее решимости.

В белом жестком платье, хрустевшем при ходьбе, словно оно было сделано из лютого мороза, в грубом своем башмаке, ради такого случая покрашенном белой краской, сыпавшейся крошками на асфальт, с металлическим подносом в руках, посреди которого кусочком пластилина был закреплен Мыня, Ванда гордо, не глядя по сторонам, прошествовала в загс и вышла оттуда замужней женщиной.

– Ей бы коня в мужья, – проворчала Буяниха. – Первый раз в жизни вижу лошадь, которая выходит замуж за сено.

Очувшись наконец в спальне, Ванда рухнула на постель и долго отлеживалась в полуморочном забытии.

Очнувшись, спросила у Мыни:

– Чего же ты хочешь?

Он ответил, для верности указав пальцем на ее левый башмак.

Ванда заплакала. С трудом расшнуровала ботинок. Сняла.

– Ты этого хотел? – спросила она таким голосом, каким говорят: «Я умираю», или: «Я убила его», или: «Я наделала в штанишки».

Известнейшие городские охальники несколько недель состязались в предположениях насчет семейной жизни Ванды и Мыни. Но вскоре эта тема наскучила даже женщинам. А Буяниха и вовсе всех озадачила, сказав однажды: «Вы-то, большие, чем лучше? Бедная девочка...» И заплакала.

В Вандиной жизни мало что изменилось. Она по-прежнему работала на мукомольном заводе, таскала на спине мешки с зерном, ходила за покупками, хлопотала по дому. Как и прежде, гостиная оставалась запретной зоной для Мыни. Как и прежде, вечера они коротали за чтением вслух. И лишь одно все сильнее тревожило Ванду: она не знала, о чем говорить с Мыней. Снова и снова она возвращалась к разговору о «гдетии», показывала пальцем то на пол, то на потолок (где?), но Мыня только пожимал плечами, давая понять, что нет таких человеческих понятий – верх, низ, право, лево, – которые помогли бы указать путь в «гдетию».

Теперь Мыня спал рядом с Вандой в углублении на подушке. Глядя на его умиротворенное лицо, она засыпала с улыбкой на губах. Ей снилось, будто она постепенно, из сна в сон, становится все меньше, и это радовало ее, и с этой радостью она и просыпалась. Даже мерзкие кошачьи вопли, доносившиеся из гостиной, не омрачали Вандину радость. Даже смутное предчувствие того, что неомраченная радость не может длиться всегда, не причиняло ей боли, словно она перестала быть человеком. Когда она задумалась об этом, ей вспомнилась фраза из прочитанной недавно книги – и она произнесла ее вслух:

– Совершенная любовь убивает страх.

А в том, что любовь ее совершенна, она несколько не сомневалась, хотя и не знала, хорошо ли это.

Тревога шевелилась в ее душе в те минуты, когда она снимала левый башмак.

Произошло же то, что, наверное, и не могло не произойти. В отсутствие жены Мыня вновь забрался в гостиную, чтобы исполнить профессиональный долг арета. Увидев человечка, черный кот обезумел. От его рывка стол упал набок, шелковая петля соскочила с ножки, и зверь одним прыжком настиг бросившегося бежать Мыню. Человек хотя и выхватил лепу, но не успел слепулить. Кошачьи зубы сомкнулись на его шее.

Вечером Ванда отыскала Мынины останки в гостиной. Она легла ничком. Не лежалось. Она пошла в кухню и долго пила из-под крана. Долго сидела у окна, зажигая спичку за спичкой.

Наконец сняла с кухонного стола клеенку, тщательно выскоблила столешницу ножом и легла. И бесполоя черная ночь объяла ее.

Там ее и обнаружили – на столе в кухне, со скрещенными на груди руками, с жалобной улыбкой, замерзшей на губах.

Пришлось звать десяток здоровенных мужиков, чтобы вынести из дома ее огромное тело. Под его тяжестью полопались рессоры у грузовика. Часа два, с пыхтением и руганью, мужики втаскивали Ванду на верхний этаж больницы, где женщину должен был осмотреть доктор Шеберстов. Но прежде надо было освободить ее левую ногу от уродливого грязного ботинка. Поглазеть на эту процедуру сбежался весь персонал. Доктор Шеберстов так долго возился с заскорузлой шнуровкой, что некоторые медсестры и санитарки, не выдержав напряжения, попадали в обморок. Наконец башмак был снят, и мы увидели – да-да, мы увидели, что у этой огромной бабищи левая нога была ножкой – маленькой, изящной, божественно красивой, с жемчужными ноготками, она напоминала едва распустившийся розовый бутон и благоухала, как три, как тридцать три, нет, как триста тридцать три роскошных августовских сада, плодоносящих в том краю, которого могут достигнуть лишь сердце, смерть и любовь...

Чудо о Буянихе. Поэма

Елью и туей пропах городок, елью и туей, – Буяниха умерла!

У Капитолины вода в чайнике внезапно забила ключом и превратилась в кровь, и старуха поняла: Буяниха умерла.

Дряхлеющий Афиноген вдруг почувствовал, как пустота во рту заполнилась живой плотью – это вырос язык, оторванный сорок лет назад осколком фугасного снаряда, – и первой его мыслью была: «Буяниха умерла», а первым словом:

– Подлецы!

Но это уже относилось к зятю и его дружкам, допивавшим в саду последний флакон «Сирени». Митроха опрокинул пузырек в рот и чуть не задохнулся: в горло посыпались пахучие цветы сирени.

Весть о кончине Буянихи передавалась из уст в уста, из магазина в магазин, из автобуса в автобус, с бумажной фабрики на макаронную, с маргаринового завода на мясокомбинат, из леспромхоза в городок нефтяников, – и последним, кто ее услышал, был Прокурор.

Он бросил собакам последний кусок мяса, вытер руки полотенцем, висевшим на спинке стула, чьи ножки, казалось, вросли в землю (после смерти прокурорши стул не убирали со двора ни зимой, ни летом; ранней весной Прокурор сдирал с его железного каркаса толстую кору ржавчины и огромной маховой кистью вымазывал весь стул светло-голубой краской, которая еще кое-как держалась на деревянных планках сиденья и спинки, но к середине лета облезала с каркасных прутьев, словно они были сделаны из какого-то особого металла, обладавшего неукротимой способностью сбрасывать с себя краску), и, обратив к собеседнику длинное лошадиное лицо, воскликнул:

– Впору пожалеть, что у нас нет ни одного колокола.

Он опустился на стул и, широко расставив ноги и упершись руками в колени, вновь заговорил своим бесстрастным, невыразительным голосом, который вполне мог принадлежать какому-нибудь неодушевленному предмету – ну, скажем, его поношенным, но аккуратно начищенным ботинкам:

– Такие новости следует возвещать под аккомпанемент траурного колокольного звона. Подумать только: Буяниха умерла.

Откинувшись на спинку стула, он поставил правую ногу на сиденье и обхватил руками худую лодыжку. В такой неудобной позе он просиживал с утра до обеда, глядя прямо перед собой крохотными серыми глазками, но не замечая ни приветствовавших его прохожих, ни собак, греющихся на солнышке или роющихся под забором, собак, на содержание которых, по слухам, он тратил большую часть своей пенсии. Даже не взглянув на часы, ровно в двенадцать он отправлялся обедать. А после обеда, вернувшись на привычное место и водрузив на стул уже левую ногу, он дремал, пока некий внутренний часомерный механизм не подсказывал ему, что пора пить чай. Вечера он проводил на том же стуле с книгой в руках. Иногда это были стихи, но чаще – один из томов «Истории государства Российского», аккуратно обернутый белой бумагой. В дождливую погоду поверх полотняного костюма он надевал прорезиненный плащ. Посетителей (а они не перевелись и после того, как он вышел на пенсию) он принимал тут же, во дворе, сидя на своем стуле под окном кухни, и только сильный дождь заставлял его пригласить человека в дом – в холодную полутемную комнату с портретом прокурорши на стене, с застеленным клеенкой столом, на котором красовалась бронзовая чернильница, с разнокалиберными шкафами, набитыми потрепанными книжками.

Внезапно он пошевелился.

– Неужели она умерла дома?

И впервые в его голосе прозвучало нечто очень отдаленно напоминающее печаль или недоумение.

– Нет, – сказал Сашка, – на базаре.

И это было недалеко от истины.

С трудом преодолевая боль, терзавшую ее вот уже два года, никем не замеченная (что само по себе можно считать чудом), она кое-как добралась до базара, где и обнаружил ее участковый Леша Леонтьев. Простоволосая, рыхлая, старая, больная женщина сидела на земле, привалившись спиной к стене бывшей керосиновой лавки. Она не отвечала на Лешины вопросы, только качала головой, глядя широко раскрытыми глазами на разор и запустение, постигшее базар после того, как он лишился ее попечения: керосиновую лавку давным-давно превратили в мебельный склад; ее «резиденция», а также буфет, где красные от мороза мужчины в распахнутых полушубках принимали из рук вечно простуженной Зинаиды свои сто пятьдесят и конфетку, стали пристанищем пауков и мышей; холодный каменный мешок, где когда-то размещался хозмаг, был отдан под водочный магазин, а скобяным товаром торговали в недавно выстроенном стеклянном ящике возле бани; под навесами, откуда, казалось, еще не выветрились запахи махорки, копченостей, ваксы, лука и жареных семечек, громоздились пустые ящики из-под вина и водки. Исчез и угол, образованный двумя кирпичными стенами, – тут привязывали лошадей, тут толкались торговцы тряпками, ветхой обувью и самодельными ножичками, тут подпившие Васька Петух и цыган Серега на спор плясали под Буянову гармошку – два полуголых, мокрых от пота, алых от водки, азарта и мороза мужика, которые схватывались в пляске каждое воскресенье, но так и не выяснили, кто же из них самый ярый плясун. Угол снесли, когда строили этот стеклянный ящик для хозтоваров.

Бережно поддерживая ее под руки, Леша кое-как усадил женщину в мотоциклетную коляску. Всю дорогу он не мог выкашлять застрявший в горле ком. Буяниха сидела с закрытыми глазами. На этот раз ее видели десятки людей – они останавливались и долго смотрели вслед мотоциклу, который, развалисто покачиваясь на неровностях, медленно полз по бульварной мостовой.

У больницы Леша помог ей выбраться из коляски, и вот тут-то силы окончательно покинули ее и она грузно осела на дорогу. Мгновенно собравшиеся вокруг люди были так поражены случившимся, что никто даже не сообразил как-то помочь умирающей или хотя бы заплакать.

Сашка нахлобучил кепку на затылок и с гордостью добавил:

– Ее положат в клубе, чтобы все могли с ней попрощаться.

Когда он ушел, Прокурор с внезапной и острой болью вдруг почувствовал: от того камня, который он обычно называл своей душой, что-то откололось и безвозвратно кануло в некую бездну.

– Что бы это могло быть? – пробормотал он, проводя кончиком языка по пересошим губам. – Что кончилось?

– Пятница, – печально откликнулась Катерина, повесив на забор последний мокрый половик.

Доктор Шеберстов не стал слушать робких возражений жены, детей и внуков. Презрительно фыркнув, он вставил искусственную челюсть, взял в руки тяжеленную трость с ручкой в виде змеиной головки и зашагал к больнице – гибрид бегемота с портовым краном, как говаривала Буяниха. На углу Седьмой улицы он вдруг остановился – у него занялось дыхание от простой и скорбной мысли: отныне он станет иным. И радоваться тут было нечему, ибо лишь одну метаморфозу – смерть – он считал более или менее пристойной в его годы.

Погрозив палкой жене, неосторожно высунувшейся из-за угла ближайшего дома, доктор Шеберстов уверенно преодолел сто метров до больницы. Толпа расступилась, и он важно прошествовал мимо безмолвных людей наверх, на самый верх, в крохотную комнатку под крышей, где под белоснежной простыней на оцинкованном столе покоилось тело Буянихи.

Главный врач – молодой человек с льняной бородкой и руками молотобойца – растерялся, увидев на пороге огромного старика с круглой лысой головой и закрученными кверху длинными усами.

Дряхлая старуха Цитриняк, притащившаяся сюда из голубоватой полутьмы своего рентгеновского кабинета, прищурила красные слезящиеся глазки и быстро-быстро закивала сморщенной обезьяньей мордочкой:

– Проходите, Иван Матвеевич, пожалуйста, легкий мой...

– Сядь, Клавдия!

Переложив трость в левую руку, Шеберстов правой откинул простыню.

– Умерла! – Никто не понял, чего больше было в этом возгласе – растерянности или возмущения. – Буяниха! – Он резко обернулся к медикам: – Какая баба была! Походка! Грудь! Сон и аппетит, да, сон и аппетит!

Старуха Цитриняк – мумия в белом халате – всплеснула своими обезьяньими лапками.

– Вы так и умрете бабником, Иван Матвеевич, легкий мой!

Махнув рукой, Шеберстов вышел из кабинета, шаркая подошвами своих чудовищных башмаков.

Внизу на крыльце он остановился, обвел гневным взглядом притихшую толпу и, сильно стукнув палкой в мраморную ступеньку, воскликнул с возмущением:

– Умерла, черт побери! Умерла!

Когда врачи и медсестры покинули кабинет, главный врач сдавленным голосом спросил:

– Это там... что это, Клавдия Лейбовна?

Она посмотрела на тело под простыней – и внезапно улыбнулась, а в голосе ее прозвучала гордость:

– Это единственная женщина, которая не ответила на домогательства доктора Шеберстова.

Главврачу показалось, что сквозь стойкую желтизну на лице рентгенолога проступила красная краска.

– Простите... – он поймал себя на том, что говорит суше, чем ему хотелось бы. – Что у нее на спине... и на животе?

– Звезды, – тотчас откликнулась обезьянка. – Это память о минском гестапо, легкий мой. Их семь – и столько же у нее детей. Не ее детей.

Молодой человек вспомнил этих пятерых мужчин и женщину (вторую, ее сестру, он знал лишь понаслышке) – шесть, а с той, которую он знал понаслышке, семь безупречных копий Буянихи.

– Вы хотите сказать... – он запнулся. – Ага, значит, эти шестеро... то есть – семеро...

– Ну да, конечно, легкий мой. – Обезьянка покивала крохотной головкой. – Ведь они ровесники. Говорят, она привезла их в мешке, как котят, но это неправда. Никуда и не надо было ездить: детдом тогда был возле старой лесопилки.

Она вытряхнула из мятой пачки папиросу и закурила, крепко прикусив гильзу мелкими черными зубками.

Когда в комнате стемнело, она вдруг очнулась и с горечью подумала, что опять осталась одна и опять не может вспомнить, о чем думала все это время. Держась за стенку, она поплелась вниз – за ней шлейфом потянулся запах крепкого табака и сапожной ваксы, которой она ежедневно начищала свои сморщенные туфли. На площадке второго этажа она остановилась, пораженная внезапной мыслью: «Кто же ее похоронит? И вообще – возможно ли это?»

Окошко телеграфа закрывала чья-то широченная спина, обтянутая выгоревшим брезентом. Из-за фанерной перегородки доносился плачущий голос Миленькой:

– Дежуренькая, будьте добреньки, проверьте заказ на Мозырь! Мо-зырь!

Ее сестра Масенькая сидела в уголке на жестком стуле со своей Мордашкой на коленях и сердито разглядывала образцы почтовых отправок, которыми была заклеена стена напротив.

– Нет, но когда в городе будет порядок? – раздраженно спросила она, не глядя на Леонтьева, за которым с треском закрылась входная дверь. – Некоторые полагают, будто психам можно разгуливать где им вздумается!

– Он же никому не делает плохого. – Леша постучал согнутым пальцем по брезентовой спине. – Разрешите?

Спина отодвинулась в сторону, и в образовавшуюся щель Леша увидел Миленьку с наушником на шее.

– Буян не отправлял никаких телеграмм? – спросил Леша. – Ну, детям?

– Буян? – Миленькая глубоко вздохнула. – Да ведь он и не знает, где почта. Ох, горе-то! – Она схватила телефонную трубку и отчаянно закричала: – Дежуренькая, ну как там Мозырь? Тебе чего еще, Леша?

Леонтьев просунул в щель сложенную вдвое бумажку и мятый червонец.

– По этим адресам пробей телеграмму про Буяниху. – Немного подумав, уточнил: – Срочные. – И добавил пять рублей.

– Я напишу заявление! – с угрозой в голосе сказала Масенькая. – Ты обязан отвечать на заявления граждан!

Проснувшаяся Мордашка зарычала на участкового. Он вздохнул:

– Тогда лучше сразу жалобу на меня пиши. Без подписи.

Виту Маленькую Головку он увидел издали: сумасшедший стоял у перил, напряженно вглядываясь в темноту, его мопед лежал посреди моста. Леша затормозил, заглушил двигатель. Вита Маленькая Головка отчаянно замахал руками.

– Оно туда поскакало! – И снова вперил взгляд в темноту, в которой утонул базар, с трех сторон окруженный зарослями ивняка и бузины.

– Ага. – Леша кивнул. – Какое оно?

– Голова обезьянья, шея и лапы лошадиные, а тулово – слепой собаки...

– Тулово слепой собаки, – задумчиво повторил Леша. – Ты зачем с Масенькой поругался?

Склонив голову набок, Вита внимательно посмотрел на участкового.

– Я говорю, с Масенькой...

– Лахудра! – сквозь зубы процедил Вита. – Ардухал. Лахудре-мудрия. Муруроа. Аорурум!

И снова, в который раз, Леша подумал: «Никакой он не чокнутый. Просто дурит. Чуть больше других».

– Не ругайся больше. И не лезь в темноту.

Ну в этом-то он был уверен: в темноту Вита не полезет. Ночи напролет он гонял на своем мопедишке по городку – только по хорошо освещенным улицам: темнота вызывала у него панический ужас. Спал он днем – в комнате без штор, занавесок или хотя бы клочка тюля на окнах. С наступлением темноты он выводил из ветхой сараюшки свой битый-перебитый мопед («Интересно, – подумал Леша, – кто ему его ремонтирует? Ясно, что не Калабаха – этот и с родной матери сдерет. Или уж Моргач?») и принимался курсировать по засыпающему, по спящему городку – громоздкая туша с маленькой головкой на длинной шее верхом на жалком дребезжащем мопедике, неведомо как попавшем ему в руки. Он был дозорным, готовым в любой миг предупредить городок о внезапном нашествии исполинских муравьев, инопланетян, пьяниц или детей. К нему привыкли, как привыкли и к Желтухе – она тоже иногда по ночам раскатывала по городку на велосипеде, если не прыгала через скакалку, или не размахивала гантелями, или не пожирала морковку, любовь к которой с небывалой силой разгорелась у нее к семидесяти годам (она занимала морковью весь огород и каждый день съедала ее не меньше

килограмма); как привыкли и к Масенькой с ее капризами, с ее горбом и ее собачонкой, с ее обшарпанным лотком – с него она, сжав ярко покрашенные губы и презирая весь род людской, торговала на автобусной станции, в двух шагах от женского туалета, плоскими пирожками с капустой, рыбой или повидлом...

Только свернув в Седьмую улицу, Леша сообразил, что же не давало ему покоя с той минуты, как доктор Шеберстов возвестил о кончине Буянихи: это был все усиливающийся запах ели и туи – запах смерти, печали, грядущего преображения и памяти. Черепичные крыши, бегущие собаки, позеленевшие от нескончаемых дождей заборы, тусклый свет уличных фонарей, стены домов, дым из печных труб (спасаясь от сырости, многие топили печи и в разгар лета) – все источало запах ели и туи, запах густой, как сироп, как темно-зеленое смолистое вино, от которого кружилась голова...

В буяновском доме (здесь жили еще три семьи, но дом назывался буяновским) было темно и тихо. Леша постучал – звук гулко разнесся по пустой квартире, точнее – по опустевшей, ибо та, которая могла с избытком заполнить работой, суетой, голосом да просто плотью своей любое пространство, даже такое, что не было заключено между четырьмя стенами и накрыто кровлей, – ведь она лежала там, на третьем этаже больницы, под самой обыкновенной простыней – ее с лихвой хватило, чтобы сокрыть от глаз людских ком плоти, лишь по инерции именуемый Буянихой, – всего-навсего еще одна смертная и мертвая женщина, пусть даже и промчавшаяся по жизни подобно смерчу, вихрю, урагану... И вот теперь не занятое ею пространство гудело – эхом ее голоса, ее поступи, ее жизни, – гудела отсутствующая жизнь: она отсутствовала в пропавшем плесенью коридоре-прихожей, она отсутствовала в кухне, она отсутствовала в детской, где по голому полу бесшумно пробежал какой-то бесхвостый зверек, она отсутствовала в гостиной, она отсутствовала в спальне... Леонтьеву казалось (более того, он готов был поклясться, что так оно и было, что оставшиеся без хозяйки вещи, книги и мебель рассыпались, разваливались, истлевали, растворялись в этой темноте с умопомрачительной быстротой и стоит ему покинуть эту квартиру, как спустя несколько мгновений вещи, книги и мебель превратятся в пыль. В гостиной только сундук да шкаф с треснувшим зеркалом стояли где обычно, остальная мебель исчезла, как пропала куда-то и картина, занимавшая всю глухую стену, – написанная неизвестным мастером копия «Трех богатырей», на которой у всех богатырей были окладистые зеленые бороды. Сундук, о котором так много говорили. Таких в городке было всего два, но первый, принадлежавший Тане-Ване, не таил никаких секретов – уж это Леша знал наверняка: он присутствовал на церемонии вскрытия старухиной укладки, где, к изумлению и невыразимому огорчению многочисленных родственников, чаявших огромного наследства, был спрятан ржавый самогонный аппарат (давным-давно, устроившись леонтьевских увещеваний, Таня-Ваня убрала аппарат в сундук, да так и не нашла времени ни сдать его в милицию, ни выбросить). Леша взялся за замок – он рассыпался в прах. Тяжелая крышка поддалась без скрипа, но не успел Леонтьев прислонить ее к стене, как из сундука ему в лицо ударил какой-то мягкий, рыхлый, тотчас рассыпавшийся по комнате ком. Крышка с грохотом опустилась на место. Слабо освещенная уличным фонарем комната наполнилась пляшущими снежинками – тысячами крупных мохнатых хлопьев.

– Ну и моли! – Бабушка Почемучето включила свет в коридоре, и теперь и Леша увидел тысячи бабочек моли: стряхивая с крылышек пыльцу, они бестолково толкались в дверном проеме.

Участковый захлопнул дверь и провел по лицу ладонью.

– Ты почему здесь, Андросовна?

– Почемучето меня за книжкой послали. Буян говорит: в спальне она, на этажерке.

– А где сам?

– В сарайке.

Он вышел во двор. Из темноты кто-то проворчал: «Никуда он не пойдет», но сколько ни взглядывался участковый, никого не смог разглядеть, кроме старого коня Птицы, который что-то жевал, прислонившись боком к стене дома. Из-за сарая несло нечистотами – значит, где-то там стояла ассенизационная бочка, точнее – деревянный ящик на колесах с квадратным, плохо пригнанным люком наверху и вечно слезящейся задвижкой сзади, – верхом на этом ящике, влекомом спящим одром, Буян методично объезжал дворы, оставляя за собой специфический запах и вызывая восторг у детей, – едва завидев ароматический выезд, они начинали хором кричать: «Жук навозный, жук навозный! Прокати на говновозе!»

Леша подергал замок на двери, из-за которой доносился визг плохо разведенной пилы, потом позвал Буяна, но тот не откликнулся. В сарае было темно.

– Может, тебе свет включить? – с надеждой спросил Леша.

– Мне свет не мешает, – проговорил Буян так внятно, будто и не было между ними никакой преграды. – Ты сам видел, Алексей Федотыч?

– Конечно, – тотчас ответил Леша и лишь после этого сообразил, о чем спросил его Буян. – Теперь уж, наверно, ее перевезли в клуб.

– А потом?

– Что – потом? Суп с котом.

– Ага. – Буян помолчал. – Значит, вы решили ее похоронить, это самое, в землю закопать...

– А ты что решил? – сердито спросил Леша.

Буян засмеялся.

– Увидишь. Все увидят.

«Чокнулся, – подумал Леша. – Хотя ведь все мы... Никто не верит, что она взаправду умерла. Чего ж тогда верить, что ее похоронят?» Да, не стало той, которая всем старожилкам, да и многим из молодых, казалась такой же неотъемлемой частью, такой же характерной приметой городка, как древняя церковь на площади, как краснокирпичная водонапорная башня у железнодорожного переезда возле старого кладбища, как водопад на Лаве, как черепичные кровли, алеющие в разливе липовой зелени, как Цыганский Квартал, как горбатые мосты, прегольские мосты, булыжные мостовые, заросли бузины и шпалеры туи, и многое, многое другое, без чего невозможно представить этот городишко, разрезанный на три части двумя реками, чьи мутные воды неспешно текут в низких глинистых берегах, опушенных зарослями ивняка и боярышника. Сколько помнил себя Леша в этом городке, она всегда была тут, рядом, – казалось, сразу во многих местах, казалось, не только рядом с ним, Лешей Леонтьевым, но и рядом с каждым жителем городка – еще в ту пору, когда он назывался Поселком. Она была здесь и повсюду, сейчас и всегда. Она была всеведущей и бессмертной. Летом – в не очень свежем халате, застегнутом на две пуговицы, и домашних тапках на босу ногу; зимой – в черном жестком пальто со шкурой неведомого зверя на воротнике («Она сама изловила его и задушила собственными руками», – понизив голос, в котором сквозили восторг и священный ужас, говорил пьяненький Буян, и почему-то ни у кого не поворачивался язык назвать его брехуном). Целыми днями она носилась по улицам и магазинам, встревала во все разговоры, которые сразу приобретали бурный характер, карала и миловала, подбирала выпавших из гнезда птенцов, больных кошек и бродячих собак, обличала пьяниц, драла за вихры драчунов, царила и правила на базаре, а кое-кому – особенно детям – казалось, что вдобавок ко всему она повелевала облаками и сновидениями, – и все это она проделывала с одинаковым и неослабевающим пылом, так что оставалось только удивляться, как она находит время и силы, чтобы вести домашнее хозяйство, воспитывать семерых детей и работать: сначала – лет двадцать, без перерывов – упаковщицей на макаронной фабрике, а потом смотрительницей – или как там это называется – на базаре, а летом, по вечерам, билетершей на открытых киноплощадках... Казалось, энер-

гия, выработанная этой женщиной, продолжала жить и после ее смерти – а можно ли уложить в гроб и похоронить энергию – вихрь, смерч, ураган?

Весь дрожа, задыхающийся Васька Петух кое-как выбрался из-под тяжелой мокрой сети сна и с трудом разлепил распухшие веки. Несколько минут он бездумно смотрел в потолок, прислушиваясь к удаляющемуся топоту копыт. Голова болела, тело разбухло, сердце при каждом движении превращалось в комок мурашек, как если бы это была отсиженная нога. В темноте что-то чавкнуло, и Васька понял, что, если сейчас он не выпьет хотя бы воды, ему никогда не избавиться от ощущения, будто он наелся горячего пепла. Превозмогая головокружение и боль в груди, он поднялся с постели и, растопырив руки, кинулся к двери. Уже в кухне спохватился: кто же это был в комнате, этот, чавкающий? Или примерещилась толстогубая мордища, покрытая лягушечьей слизью? Васька нашарил выключатель – его несильно ударило током, вспомнил: давно пора починить проводку. Схватив со стола замызганный стакан, он едва не упал в раковину: от резкого движения вся кровь бросилась в голову, сердце бешено заколотилось, а тело от темечка до пят покрылось горячим щиплющим потом. Из водопроводного крана ударила струя водки. «Так, – подумал Васька. – Или с Буянихой что-то случилось – или пора в дурдом. Но сперва похмелиться – со святыми упокой». Зажав пальцами нос и зажмурившись, он залпом проглотил содержимое стакана – и только после этого услышал скрип половиц и еще такой звук, будто через дверной проем тащили огромный кусище мокрого брезента. Он открыл глаза – и так и замер: со стаканом в правой руке, с зажатым пальцами носом и вытянутыми в трубочку – на выдохе – губами, – и последней его мыслью было: «Господи, какой же тогда у него хвост?!»

Восемьдесят пять самых крепких мужчин, у каждого из которых было не менее двоих детей, благоговейно вынесли из больницы тело Буянихи, источавшее запах только что распустившихся пионов, и погрузили его в полуторку – единственную на весь городок, чудом уцелевшую, вероятно, лишь потому, что с незапамятных времен ее использовали только как катафалк. За рулем выкрашенной черным лаком машины сидел Никита Петрович Москвич, чья желтая борода ниспадала до пояса, закрывая надетые по такому случаю фронтовые награды. Тело бережно опустили в лодку (ибо не нашлось пока подходящего гроба). Никита Петрович поправил портрет Генералиссимуса на ветровом стекле и, заклинив клаксон, повел машину к клубу.

Восемьдесят пять самых крепких мужчин, у каждого из которых было не менее троих детей, благоговейно сняли лодку с машины, торжественно внесли в паркетный зал, где по стенам уже сидели старушки – одна к одной, как горошины в стручке: белые платочки, черные юбки и жакеты, и водрузили его на крытый алым плюшем постамент.

Первой заплакала Капитолина, за ней Эвдокия, у которой не хватало шести пальцев на руках и двух на ногах, потом Валька, потом Геновефа на пару с Данголей, а за ними и Веселая Гертруда, столетняя сумасшедшая, завсегдатай похорон, от которой никто никогда не слышал ничего, кроме «Зайд умшлюнген, миллионен», за ними остальные женщины – те, что в паркетном зале, и те, что в парке за клубом, и те, что на прегольской дамбе, и те, что на заречных сенокосах, и те, что в бане (пятница – женский день), и те, что в супружеских постелях, и те, что в роддоме...

Когда мужчины, сдержанно покашливая и толкаясь в широком проходе, покинули клуб, оставив покойную наедине со старухами, в паркетный зал стремительно вошел закутанный в ветхий плащ человек – с него ручьями текла вода, словно он только что вылез из реки. Ни к кому в отдельности не обращаясь, он поинтересовался, кто из родственников покойной соблаговолит принять от него тридцать талеров – долг, который, по словам незнакомца, тяготит его вот уже скоро двести сорок лет. Ему попытались втолковать, что Буяниха умерла шестидесяти

пяти лет от роду, но незнакомец только горько усмехнулся и спросил, как в таком случае ему добраться до ближайшего постоянного двора. Его, конечно, отправили к Зойке-с-мясокомбината. Незнакомец удалился, оставив на полу огромную лужу воды, которую двенадцать женщин полтора часа собирали и выносили ведрами, взятыми на время у Калюкаихи, Сунгорцевых и у Славки.

И только после этого появилась наконец бабушка Почемучето с любимой книгой Буянихи. Рыдания стихли, явственнее запахло пионами, когда Капитолина раскрыла потрепанный том, обвела женщин строгим взглядом и звучным, торжественным голосом продекларировала: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!»

Рано утром Мороз Морозыч обнаружил, что все розы в его палисаднике этой ночью превратились в пионы, благоухающие елью и туей. Выпив сырое яйцо и стакан подсоленной воды, он отправился в клуб, где в бывшей буфетной уже собрались доктор Шеберстов, Прокурор, Капитолина, Леша Леонтьев и Веселая Гертруда – она спала, прислонившись спиной к круглой железной печке и смущая всякого входящего строгим взглядом широко открытых глаз.

Как только Мороз Морозыч, аккуратно прислонив к стене свой костыль, опустился на стул, доктор Шеберстов, словно продолжая разговор (хотя до прихода библиотекаря они хранили молчание), спросил у Леонтьева:

– Значит, хоронить ее нам?

В его вопросе не было ничего от вопроса, если не считать слабого намека на специфическую интонацию, – более того, библиотекарю даже показалось, что в голосе доктора он уловил что-то вроде удовлетворения. Леша пожал плечами:

– Я дал телеграммы детям.

– Не в счет! – Доктору Шеберстову не сиделось, он вскочил и, размахивая палкой, тяжело прошелся из угла в угол. – Гости к столу! – Он взмахнул палкой, заставив всех отшатнуться. – Итак?

Прокурор вынул из кармана крохотный блокнот в самодельной обложке и, не раскрывая его, стал говорить своим сухим, бесцветным голосом, который вполне мог принадлежать тем фигуркам, которые он иногда вырезывал из бумаги, – собственно, это был реестр обязанностей родных и близких усопшей: надо было заказать гроб, позаботиться о костюме для покойной, о катафалке, могильной яме, памятнике, поминальном обеде и т. д. Слушая этого костлявого старикашку, который даже в такой день не изменил своей канцелярской манере говорить о чем угодно – о любви, разделе имущества или проблемах мелвилловской метафизики, Мороз Морозыч вспомнил, как однажды Буяниха сказала о Прокуроре, что он и дышит только из упрямства, да еще, может, назло ей. Тогда он, Мороз Морозыч, с присущей ему склонностью к выпренности, сказал, кажется, примерно следующее: если горстке обреченных защитников уже почти поверженной твердыни понадобился бы флаг – символ стойкости или хотя бы только упрямства, на эту роль вполне сошелся бы Прокурор, чье тощее туловище запросто сойдет за древко, а слишком просторный полотняный костюм – за полотнище; и даже если крепость падет, а человек-знамя, человек-символ случайно уцелеет, он, вопреки очевидности, сохранит уверенность в том, что твердыня устояла, дело не проиграно, и никому не удастся его переубедить, так что останется одно – уничтожить его физически, перепахать землю, в которой его похоронят, и запретить людям даже приближаться к этому месту, дабы и случайно не заразиться упрямством. И тогда доктор Шеберстов согласился: да, в упрямстве с Прокурором могли сравниться немногие. Ну Стрельцы. Ну Уразовы. Ну, наконец, сама Буяниха. Умудрилась же она – о, разумеется, только из упрямства – выйти замуж за этого человека, точнее, умудрилась взять в мужья такого человека, как Буян, который, в конце концов, сошелся только на то, чтобы более или менее регулярно чистить выгребные ямы, так ведь, если постараться, этому можно научить и ветхого конягу Птицу...

«Вы это говорите только потому, – закричала Буяниха, – что я отказалась выйти за вас, бабника чертова!»

Она швырнула книгу на стойку и ушла, сокрушая каблуками гнилую библиотечную лестницу.

«Может, и так. – Огромным клетчатым платком доктор Шеберстов вытер жилистую шею. – Но ведь все дело в том, что она упряма – разве нет? – Он уставился на библиотекаря своими выпуклыми глазами. – Она дала слово – и вышла за того, кому дала слово. Слово!» – «В конце концов, она отказала всем, – заметил Мороз Морозыч. – И вам, и Прокурору...» – «Прокурору! – закричал доктор. – Воображаю! Не руку и сердце – брак! Не желаете ли зарегистрироваться!» – «Он читал ей стихи, – возразил Мороз Морозыч. – Кажется, Пушкина. Но не Блока – это точно». – «Стихи! – Шеберстов был ошеломлен. – Откуда вам знать?» – «Это произошло вот тут, где вы стоите. – Мороз Морозыч ткнул пальцем под ноги доктору, и тот от неожиданности поспешно отступил в сторону. – Она стояла здесь. Он – тут. И она ему отказала». – «Еще бы! – закричал доктор. – Она отвергла всех самостоятельных мужчин, чтобы помыкать этой устрицей!»

– Значит, осталось выкопать яму и сварить кисель! – заключил доктор Шеберстов нудную (иной она и быть не могла) речь Прокурора, и Мороз Морозыч понял, что пропустил почти все, ради чего здесь собрались эти люди, и, чтобы не остаться в стороне, спросил:

– А оркестр?

– Это – Прокурор! – Доктор Шеберстов повелительно взмахнул палкой. – Ты, Леша, – родню! А ты... – Он резко повернулся к Капитолине: – Ты – поминки. Баб много.

– Тебе всегда их не хватало, – язвительно напомнила Капитолина.

– Ты была за двоих! – прокричал доктор, хлопнув по плечу утратившую дар речи старушку. – Итак!

И грохая палкой по деревянным половицам, он вышел из буфетной.

Прокурор помог библиотекарю спуститься по крутой лестнице. На улице, глядя прямо перед собой, то есть как бы в никуда, он проговорил:

– У меня странное предчувствие...

– Сегодня день предчувствий, – живо откликнулся Мороз Морозыч. – И воспоминаний.

– Мне кажется, будто все это от начала до конца придумано самой Буянихой. И будто после того, как она исчезнет, все это тоже исчезнет. Или нет?

Они помолчали.

– В конце концов, – голос библиотекаря прозвучал, как всегда, мягко, – любое изменение – это исчезновение чего-то. И возникновение чего-то.

– Просто мы все перемрем, – сухо сказал Прокурор. – А она останется.

Он не договорил. Едва не задев крыши домов, на поляну перед клубом плюхнулся штурмовик ИЛ-2, из которого выпрыгнул пилот в окровавленном комбинезоне. Приволакивая левую ногу, он прошел в паркетный зал и, сдернув шлем, припал к плюшевому постаменту.

– Чиримэ... шени чиримэ... – Он смахнул что-то с ресниц и обратился к старухам: – Как это произошло?

Ему рассказывали о кончине Буянихи, а он кивал головой и печально шевелил губами. Его отвели на перевязку, а потом уложили в бильярдной.

Сбежавшиеся люди молча стояли вокруг самолета, и никто не осмеливался приблизиться к машине, чье жесткое тело еще не остыло от ярости войны.

– Смертью пахнет, – вдруг проговорил слепой Дмитрий. Он подошел к самолету, приник щекой к броне и заплакал. – Ангел мой...

И с той минуты началось паломничество к гробу Буянихи. Первой в сопровождении пятирех прелестных детей явилась дородная красавица, державшаяся с тем самообладанием, что

сродни высокомерию, и люди вспомнили некую чрезвычайно взбалмошную семнадцатилетнюю девочку, которая с презрением отвергла ухаживания заезжего артиста – фокусника, чревовещателя и гипнотизера. Махнув рукой на гастроли в Париже, Юрбаркасе и Рио-де-Жанейро, он застрял в городке, изнывая от безнадежного чувства. Утром его видели в парикмахерской, где По Имени Лев тщетно старался соорудить на голом черепе клиента хотя бы подобие прически; обедал он у Фени, в Красной столовой; вечерами, облаченный во все черное, он прогуливался по Седьмой улице, осторожно ступая между коровыми лепешками и пытаясь взглядом прожечь окна неприступной красавицы. Чтобы привлечь ее внимание, он давал бесплатные представления прямо на улице: доставал из шелкового цилиндра пахнущих нафталином живых кроликов, выпускал из рукавов стаи голубей, читал мысли, предсказывал прошлое и глотал шпаги, а когда они кончились – кухонные ножи и безопасные бритвы. Вскоре он наскучил даже детям, но так и не удостоился ни одного знака внимания от жестокой красавицы. И тогда он объявил прощальное представление в клубе – на него собралось почти все платежеспособное население городка. Продемонстрировав каскад умопомрачительных фокусов, он перешел к гипнозу. Желающих подвергнуться воздействию его колдовского взгляда было предостаточно, но не было среди них той, единственной, и тогда, употребив свои чары, он вывел ее из зала на сцену и заставил маршировать, и она маршировала, почему-то припадая на левую ногу и визгливо распевая какую-то дурацкую песенку, начинавшуюся со слов «Солдат Маруся». Она послушно выполняла приказы артиста, а он стоял в глубине сцены со сложенными на груди руками и мрачно шептал: «Ватерлоо... Ватерлоо...» Внезапно посреди хохочущего, стонущего, плачущего зала поднялась Буяниха. Мановением руки она установила мертвую тишину, поднялась на сцену и что-то вполголоса сказала артисту. Забыв про свой плащ, цилиндр и треножник, он вылетел из клуба, кинулся в поджидавший его черный автомобиль, который тотчас превратился в черного, как гнилой зуб, коня, и прынул за стоячее облако. Буяниха вынула девочку из петли и отнесла к себе. А через месяц, получив благословение от парализованной бабушки и средства от Буянихи, девочка уехала на ленинградском поезде. И вот спустя пятнадцать лет она явилась к гробу женщины, благодаря которой никто не осмеливался в глаза называть ее Солдатом Марусей. Следом явился Резаный – тот самый, что когда-то покинул городок, восседая на ассенизационной бочке за спиной Буяна. Нет, не Буянихе принадлежала заслуга разоблачения этого дельца, который тайно занимался торговлей леденцовыми петушками, самодельными конфетами, подержанной мебелью, поношенной одеждой и обувью, а также самогоном – разумеется, через посредников – бедных старичков и старушек (им перепали крохи), многие из которых даже не знали, на кого работают. Нет, не Буяниха разоблачила его, но восьмилетний Алеша Рязанцев и жалкий пьяница Сергеюшка. Пропив выданный ему сахар, Сергеюшка, чтобы как-то выйти из положения, залил формочки водой, подкрасил и выставил на ночь на крыльцо – дело было зимой. На что он рассчитывал? Очевидно, на то, что взрослые обычно сразу не пробуют купленные для детей петушки. Потому-то так и испугался он, когда к его лотку неожиданно подошел Алеша, потому-то и бросился бежать от мальчика, который упорно преследовал его с пятачком в кулачке. В конце концов мальчик заполучил розового петушка, и тут-то и обнаружилось, что леденец – ледяной. Но именно Буяниха, с пристрастием допросив Сергеюшку, выяснила, на кого пьяница работал. И именно ей принадлежит знаменитая фраза, произнесенная в присутствии ста семидесяти шести ошеломленных свидетелей, – «У нас так не делают», и именно она повелела выдворить негодяя Резаного из городка верхом на вонючей бочке, что и было сделано под бдительным присмотром Миши Рубшика, Васьки Петуха и Аввакума Муханова. Пришла проститься Граммофониха, благодарная Буянихе за то, что некогда та спасла ее дочь от дьявола, вознамерившегося обесчестить ее дуру дочь и дурака зятя, – все знали эту историю, в которой Буяниха выступала в героической роли экзорцистки: с ружьем в руках она бесстрашно вошла ночью в сад, где дьявол, по некоторым сведениям, назначил несчастной свидание, и могучими и безжалостными ударами приклада загнала прятавшегося

за кустом смородины Князя Тьмы в Гнилую Канаву, куда толевый завод спускал мазут. Тысячи и тысячи людей шли и шли по Седьмой улице к клубу, толпились в паркетном зале, где сменяющиеся старухи нараспев читали любимую книгу Женщины-Вихря, Царицы Базара, Повелительницы Облаков и Сновидений. Прощались с Непорочной Девой, Попечительницей Слабых и Убогих, с Девой-Богатыршей; прощались со Сводницей и Воровкой – так кричала Носиха: ее новоиспеченного зятя буяновская дочка увела из «честной супружеской постели»; прощались с женщиной, при появлении которой в городке железный петух на школьных часах, этот ржавый золотой петушок, выскочил из своего домика да так и замер навеки – с открытым клювом, вытянутой шеей, распахнутыми крыльями и застрявшим в глотке «кукареку»; прощались с Ведьмой и Змеей – многие, многие женщины, чьи мужья когда-то, словно обезумев, наперебой ухаживали за Буянихой, знали наверняка, что в карманах, пришитых к ночной рубашке, Ведьма носит сушеные сердца многочисленных возлюбленных, своими глазами видели, как по ночам Ведьма летала в ступе (на помеле, на красном быке, на белом льве, на черном вороне, на ассенизационной бочке, на Буяне, на Недотыкомке, на сложноподчиненных предложениях с придаточными образа действия, меры и степени), видели, как, оставив свою лживую плоть в постели, она ползала по спящему городку в образе прекрасной Змеи, высасывая молоко у коров и вызывая сексуальные галлюцинации у несовершеннолетних; прощались с Буянихой...

...И снова, как и часом ранее, он подумал: «Все, что я делаю, придумано не мною». Он остановился на мосту, невидящим взглядом скользнул по играющей бликами воде и громко проговорил:

– Это переутомление.

Конечно, переутомление. Эта женщина способна и после смерти утомить кого угодно, заставив кого угодно делать то, что она задумала. Недаром же когда-то ее считали колдуньей, с усмешкой подумал Прокурор. И вовсе не исключено, что все это было ею задумано и продумано от начала и до конца, во всех деталях. О, она позаботилась обо всем: о том, чтобы умереть именно там, где умерла, и именно так, а не иначе; о том, чтобы своей смертью взбудоражить весь городок и вывести из равновесия даже тех, кто почти ничего не знал о ее прошлом; о том, чтобы ее уложили в лодку вместо гроба, пока кто-то – только, конечно, не ее близкие – будет хлопотать о более или менее достойном вместилище ее мертвой плоти; о том, чтобы все цветы во всех палисадниках в одну ночь превратились в ее любимые пионы; о том, чтобы все разговоры – о ком бы и о чем бы то ни было – в конце концов обязательно становились разговорами о ней; о том, чтобы ее положили в паркетном зале, куда непременно потянутся люди – некоторые действительно проститься, другие – чтобы погрузиться в свои воспоминания о событиях, атрибутом которых была Буяниха (ибо не было в городке сколько-нибудь заметных событий, к которым она не имела бы касательства) – таким же атрибутом, как истончившиеся до прозрачности золингеновские бритвы, дамские ботики и бурки, керогазы, утратившие цвет лепестки шиповника и рассыпающиеся в прах крылышки бабочек между листьями пятого (Барыкова – Бессалько) и пятьдесят девятого (Француз – Хокусаи) томов шмидтовской энциклопедии, трети – просто поглазеть; о том, что скажет доктор Шеберстов и что ответит ему Прокурор, как будет чертыхаться Данголя и сколько бензина спалит Вита Маленькая Головка... Она все это придумала, как придумывала события, имена и людей, которые почти безропотно поддавались яростному напору этой базарной магии. Нет, она никому не давала прозвища – она нарекала телефонистку Анастасию – Миленькой, гробатенькую Марию – Масенькой, Ивана Андреевича с его ватной шевелюрой и ватной бородой – Морозом Морозычем, а вздорную и болтливую старуху Граматько – Граммофонихой, и с той минуты никому и в голову не приходило, что у этих людей были когда-то другие имена, а события можно толковать не так, как их толкует Буяниха. Это был мир, который она сотворила, – точнее, перевоссоздала по своей воле и разумению, и именно этот мир (быть может, и мало чем отличающийся от того, который мог суще-

ствовать и без Буянихи, но все же – иной) должен исчезнуть, кануть в небытие. Водокачка Буянихи. Мостовые Буянихи. Голуби Буянихи. Водопад Буянихи. Шлюзы Буянихи. Облака Буянихи. Сновидения Буянихи. Дожди Буянихи. Солнце, Луна и Звезды Буянихи. Пространство Буянихи. Время Буянихи. Наконец – Красная столовая Буянихи, не без иронии завершил этот реестр Прокурор, который еще никогда не чувствовал себя таким старым, немощным и никому не нужным. И уже склонив голову под низкой аркой входа, откуда тянуло прохладой и запахом кислого пива, он вдруг подумал: «Да ведь мне больно. Больно».

Договориться с музыкантами Прокурору неожиданно помог черный незнакомец. С него по-прежнему текло ручьем, так что Фене пришлось усадить его за столик поближе к сливному отверстию в полу и строго-настрого запретить менять место. Когда Гриша, выкрикивая обвинения по адресу всех «больно умных» и «больно грамотных», заявил, что за обычную плату они на этих похоронах играть не согласны, черный вдруг оторвался от макарон с пивом и вмешался в разговор:

– Обойдемся и без вас.

Его попытка приподняться – вероятно, для вящей внушительности – была тотчас пресечена грозным взглядом Фени, которая, как обычно, дремала под жалобной книгой с портретом Софии Ротару на обложке, но при этом, как всегда, бдительно надзирала за каждым посетителем. Со вздохом закурив, незнакомец бросил спичку в бокал с пивом – оно вспыхнуло дрожащим голубым пламенем.

– Это как же? – язвительно поинтересовался Гриша.

И тотчас сваленные в углу инструменты вылетели из обшарпанных футляров и, повиснув в воздухе, согласно запели траурный марш Шопена. Придя в себя, музыканты бросились ловить свои трубы и тарелки, но инструменты мигом поднялись под потолок, где их было не достать.

– Итак? – задумчиво спросил черный.

– Ваша цена? – простонал Гриша.

Прокурор выложил деньги на стол.

Степан Муханов, двадцать лет странствовавший неведомо где и изредка присылавший отцу письма с обратным адресом «Сибирь, до востребования», вернулся в городок, чтобы прославиться как создатель самых кособоких в мире гробов и самых ненадежных в мире лодок. Он наотрез отказался взять деньги за домовину для Буянихи («Только не подумайте, пожалуйста, что я бессребреник, боже упаси! Просто это не тот случай: ведь уже сегодня все будут знать, что я взял деньги за этот гроб. А мне здесь жить. Понимаете?») и предложил Прокурору выбирать изделие по вкусу.

– Берите вон тот. – Он кивнул на какое-то сооружение в углу сарая, отдаленно напоминавшее баркас. – Поди уложи такую кобылу в обычный ящик.

Прокурор договорился с Фотографом об эпитафии, которая, разумеется, должна была украсить надгробие, и Фотограф, обычно хладнокровно сообщавший клиентам, что за строку прозы на камне он берет пять рублей, а за стихотворную – червонец, отверг предложенный гонорар.

– Наградой будет результат, – пояснил он. – Пока я даже приблизительно не представляю себе, как достойно запечатлеть в нескольких строках наше представление о ее жизни: сирота, партизанка, труженица, Пенелопа, знахарка (тут Прокурор едва удержался от улыбки), возмутительница спокойствия и великая примирительница, вихрь, смерч, ураган – словом, женщина, попытавшаяся исчерпать все возможные варианты бытия... Кстати, а кто оплатит памятник? Неужели вы? Или доктор Шеберстов?

Прокурор сжал губы и зашагал быстрее.

– Не обижайтесь, – сказал Фотограф. – Пожалуй, мне не стоит браться за это дело. В конце концов, все, что мы можем сказать о ней, вмещает одно слово – «Буяниха». И что тут добавишь?

Вита Маленькая Головка пообещал к вечеру вырыть могилу – у него был богатый опыт по этой части. Надо было только не забыть расплатиться с ним червонцем по рублю: получая ту же десятку одной бумажкой, Вита обижался, считая, что ему мало дали.

Вернувшись домой, Прокурор заперся в кабинете. Несколько часов он неподвижно сидел в кабинете, не замечая, как постепенно меркнет свет за окном. По улице, громяхая на выбоинах, проехала телега. В тот вечер тоже сначала прогромяхла телега, и еще не затих этот звук, как в дверь постучали и вошел Буян. Нет, Прокурор (тогда следователь) не вызывал его. Более того, ему даже не очень хотелось встречаться – не то что разговаривать с этим человеком, появление которого вызвало такое оживление в городке: что же это за сокровище такое, что его так ждут, ради кого же Буяниха отказывает всем подряд? Ага, вот ради кого, вот ради этого обмылка, что ни ростом, ни пузом не вышел, что смотрит на мир сонными глазами, тоскующими на равнодушном лице. Ну что ж, хорошая хозяйка всякой вещи найдет применение. И вот он равнодушным, усталым голосом поздоровался и, даже не сняв замусоленную кепчонку и не посмотрев, куда садится, опустился на стул у двери и заговорил.

– Нет, – сказал Прокурор (тогда еще следователь), – это какая-то ошибка: мне это вовсе необязательно знать. Это ваше личное дело.

– Ага, – равнодушно согласился Буян. – Так вот, значит, када немцы пришли, мене еще семнадцати не было...

– Это ваше личное дело, – снова сказал Прокурор. – До свидания.

Не шелохнувшись, Буян продолжал свой рассказ:

– Дядька после смерти бати у нас за старшего был, он и грит: либо, грит, в Германию, либо в полицию. А у мене на руках три сеструхи да мамаша. Ладно. Дали мене винтовку, а как я сопливый был, ставили мене сторожем – то к зерну, то к сену, то к коням. Среди полицаев я навроде паршивой овцы, Анисим Романов мене ссулем прозвал, среди народа тоже навроде гада. Этого Анисима скоро партизаны повесили, я сам ходил на евонный язык смотреть – синий, чуть не до пояса висит. Думаю себе: поймают мене партизаны – не станут разбирать, что я сторож, повесят за здорово живешь рядом с иудами. Ладно. Раз я сено сторожил, тут партизаны нагрянули за сеном. Помог я им погрузиться. Один – из чужих – все наскაკивал, все к стенке мене хотел. Женилка, грит, не выросла, а уже гад. Командир ихний заступился: не гад пока, грит, а дурак. За сено дядька мене шонполом отодрал. Партизанам, грит, помогаешь, советских испугался? Пока они досюда дойдут, мы всех партизанов переловим и с тебе, суки, сто шкур спустим. Тут мене заело. Кто это, грю, мы? А хотя бы немцы, грит. А я, грю, в немцы не записывался. За это мене добавили шонполов. Када фронт близко подкатился, немцы с полицаями совсем озверели, акции делали – народ по деревням палили. Одним днем и у нас похватали всех баб, у кого мужики в партизанах или в Красной армии. Кинули их в конюшню, в поместье бывшем. Будешь, дядька мене грит, етих кобыл охранять. А за тобой Амросий посмотрит, чтоб не баловался. Амросий при колхозах в конюхах ходил, а еще в колдунах, детей от икоты заговаривал, скотину пользовал. Шептун. Када немцы пришли, сразу к им подался. Он у их на допросах отличался, особо баб и девок любил мучить. Амросий как мене увидел – обрадовался. Одному-то, грит, скукота самогонку глушить. Пошли мы в сторожку, пахнет там чем-то, тока поначалу я к запаху не прислушивался. Выпили. Хочешь, грит, я тебе оттуда бабу выну? Не бойсь, грит, напоследок они забористые. Напоследок, грю. И тут мене запах в голову ударил: бензин. Бензин, грю. Он самый, Амросий смеется. Утром, грит, угодников жарить будем. И детей, грю, жарить? А ты, грит, лучше выпей. Выпили. Так-то я на выпивку слабый, а тут как воду пью. Не воду – бензин. Все бензином пахнет. Еще выпили. Амросий

спать завалился, а мене велел посматривать. Пошел я, хожу, слушаю – нету партизанов, хоть плачь. Вдруг зовут мене. Подошел – она. Дверь на цепке была, щель большая. Выпусти, грит, нас. У мене, грю, и ключа-то нету. Выпусти, грит, хоть детей, а потом хоть что проси, хочешь – мене. Щас, грю, а сам как пришибленный: за ей-то парни как бегали – и какие, а она – мене... Ты, грит, не веришь? Слово тебе даю, выпусти. Щас, Амросий вдруг сзаду, щас выпущу, чего, грит, ссуль, эту хочешь? Не бойсь, грит, Амросий не выдаст. И тут вдруг она: убей, грит, его, убей. У мене мороз по спине. Чего, Амросий тут, чего? Шагнул к мене, да оскользнулся, тут я его штыком и вдарил. Что силы было. Он зашипел и упал. Ключ у его, она мене, забери. Кинулся я к Амросию, а он живой еще, в грязи возится и шипит. Я его еще раза два саданул штыком, а после навалился на его, стал ключ отбирать. Он мертвый почти, а не дается, пихается и все шипит. Я руками все мимо да мимо – весь в евонных кишках да кровях перемазался, пока ключ нашел. Дверь открыл. Она мене за руку взяла. В чем это ты, грит, мокрый? В Амросии, грю, скока вас тут? С детьми сорок, грит. А бабы в рев да лезут мене руки целовать. Я на их поорал – отстали. Побежали. Тока до Травкиной канавы добежали, слышу: мотоциклы. Ну, грю, бабоньки, дуйте – не выдавайте. Побежали они, а я в канаву полез. Сумерки уже. Тут мотоцикл на пригорок выскочил и ну строчить по бабам да деткам. Я раза три стрельнул – мотоцикл замолк. Я обратно гляжу: бабам совсем ничего до лесу осталось. А мотоциклы обратно из пулеметов строчат. Переднего я снял, тада они к мене повернулись, разозлились. Ну и хорошо, думаю, а сам в их стреляю. И вдруг сзаду застреляли. Глянул я: баб моих не видать, а от лесу бегут какие-то. Я и в этих на всякий случай пальнул. Возле лесу запукало – это партизаны из минометов по немцам вдарили. Соскочил к мене в канаву который, када за сеном приходили, к стенке мене хотел. Ты чего, грит, по своим лупишь, а? Дай-ка, грит, я тебе, гада, поцелую. В партизанах мы недолго воевали. Ее сперва ранило, потом она в гестапо попала. А как наши пришли, мене куда надо отправили, я не жалуясь. Я уже года полтора отсидел, как она мене письмо написала. Жду, пишет, какого ни есть, тока ворочайся живой. Вот я и воротился.

– Ага, – сказал Прокурор. – Только я не понимаю...

– Я ее не неволил, – сказал Буян. – Я ей с лагерей так и отписал: можешь мене не ждать, слово тебе ворочаю.

– Только я не понимаю, – сказал Прокурор, – зачем вы мне это все рассказали?

– Чтоб знали. – Буян поднялся. – Вы ж про ее хотите знать... ну и про мене...

Он ушел, а Прокурор (тогда еще только следователь прокуратуры) долго сидел в кабинете. Наутро он сделал предложение той, которая стала его женой. И когда доктор Шеберстов насмешливо спросил, с чего бы это «достоуважаемый правовец так скоропалительно забыл даму сердца и обзавелся дамой желудка», Прокурор ровным голосом ответил:

– Если вы еще раз позволите себе неуважительный выпад по адресу моей жены, я набью вам морду, доктор Шеберстов.

Он вытянул ящик стола, нащупал конверт, вытряхнул из него сложенный вчетверо листок бумаги – и только тогда догадался включить свет. Эту бумагу ему отдал тогдашний прокурор – астматический старик, даже летом носивший толстое пальто, покроем напоминавшее шинель.

– Вы что-нибудь понимаете? – сердито спросил он, заметив улыбку на лице помощника, пробежавшего глазами заявление. – Я даже не представляю, как к этому относиться.

– Если не возражаете, я возьму это себе.

– И что вы собираетесь делать?

– Ума не приложу. Скорее всего – ничего.

Вернувшись к себе, он перечитал заявление: семнадцать женщин требовали положить конец бесчинствам Буянихи, насылавшей порчу на мужчин, которые ни о чем и ни о ком, кроме как о ней, змее, не могли думать.

Встретив Надю Сергееву, чья подпись под заявлением стояла первой, он напрямик спросил:

– Неужели вы верите во всю эту чушь?

Кажется, он недооценил силу женской ненависти. Смерив его с головы до ног пылающим от негодования взором, Надя процедила сквозь зубы:

– А это как раз неважно, верим или нет. Если вам на это плевать, мы сами займемся этим.

Тем же вечером авторессы заявления ворвались в любинскую кузню, где Буяниха ждала, когда припают ручку к ее кастрюле, и потребовали бесспорных доказательств ее непричастности к волшебю. С презрительной улыбкой она недогнущей рукой достала из кузнечного горна раскаленную добела гайку и зажала ее в кулаке. Когда женщины пришли в себя после обморока, она разжала ладонь и бросила гайку в горн – рука ее даже не покраснела. И позже, когда она прославилась как знахарка, наложением рук избавлявшая от зубной боли, бессонницы, икоты и рака прямой кишки, Буяниха называла тех, кто видел в этом чудо, суеверными дураками.

Он посмотрел на часы, сунул конверт в карман и, погасив свет, надел шляпу.

Собаки во дворе зашевелились, но Прокурор не взял их с собой.

– Мог бы и свет зажечь. – Леша провел рукой по стене в поисках выключателя. – Где он тут?..

– Не надо, дядя Леша, – остановил его голос. – Теперь-то все равно.

– Без фокусов не можешь. – Леонтьев неодобрительно покачал головой. – Что люди скажут?

– Ну остальные-то нормально явились?

– Давно спят.

– И слава богу. Да не ищи ты выключатель! – уже с раздражением воскликнул молодой человек. – Успеешь еще налюбоваться на меня. Или ты... – он тихонько засмеялся. – Или ты тоже пришел в сундук заглянуть?

Участковый почувствовал, как лицо его заливают краска.

– Ты мать-то хоть видел? – строго спросил он. Глаза привыкли к темноте, и теперь он различал узкую фигуру того, кто сидел на сундуке.

– Мать. Ага, мать, а кто же еще? И директриса тогда сказала: вот ваша мать. Не мама – мать. Но это мелочь, на которую мы не обратили внимания. Мы ведь тогда просто испугались той бабы, которая ворвалась в общую комнату и грозно приказала нам собираться. Она-то как раз не кривлялась, не назвалась матерью – просто велела собираться. Пойдете жить ко мне, сказала она, не обращая внимания на директрису, которая лепетала, что все это не так просто, что надо еще оформить, что все это делается в установленном порядке... Вот и устанавливай порядок, сказала она, а я этих беру. Сколько их тут? Семеро? Семерых.

– Откуда тебе помнить? – прервал его Леша. – Ты же был самый младший. Сколько тебе было – четыре? пять?

Молодой человек снова засмеялся:

– Ты разве забыл, что дети Буянихи – одногодки?

– Но ты же всегда был самый младший, – возразил Леша.

– Казался. – Он помолчал. – Я и до сих пор удивляюсь: почему она нас не перекрестила? Ну, почему позволила нам носить детдомовские имена? Ведь это не в ее духе. – Он закурил, бросил спичку на пол. – Пять мальчиков и две девочки вдруг стали братьями и сестрами. А ведь мы не были братьями и сестрами...

– Какая разница, – пробормотал Леша.

– Поначалу, конечно, никакой, а потом...

– Ты не крути. – Леша тяжело вздохнул. – Я же знаю, куда ты гнешь. Могилу рядом вырыли.

– И правильно! Мать и дочь – рядом.

И он стал говорить – сумбурно, почти бессвязно, в отчаянной попытке снова вернуться в то далекое утро, яростно вырывая у прошлого миг за мигом, час за часом, день за днем, задыхаясь от боли, ненависти и страха, как будто с того дня и не прошло десяти (или больше?) лет, как будто все это произошло вчера, нет, даже не вчера, даже не час назад, – как будто это происходит – сейчас, сию минуту, сейчас и здесь, вновь и вновь. Леша, поднятый на заре Желтухой, снова бежит на базар, бежит через залитый дождями стадион, через заросшие бузиной развалины, забыв о мотоцикле, забыв, то есть – не успев как следует одеться, бежит, задыхаясь и думая только об одном, не думая – страстно желая, чтобы все это почудилось этой треклятой Желтухе, которая всю ночь, как обычно, раскатывала на своем велосипеде по городку и уже под утро зачем-то заглянула на базар. Почудилось. Конечно, ведь она так и сказала: мне почудилось, будто кто-то оттуда выбежал, а увидел меня – и кинулся за баню, к реке. Конечно, почудилось и остальное, чему еще не было названия, но что уже вразгон перло навстречу – не разбирая дороги, слепо и неостановимо. Он выбрался на дорогу (почудилось!) и увидел людей, столпившихся у ворот (почудилось!). Кто-то взял участкового за плечо и сказал – почему-то шепотом: «Не туда, Алексей Федотыч, – налево». В углу, где когда-то привязывали лошадей, где по воскресеньям Васька Петух и цыган Серега спорили, кто из них плясовитее, – на куче мусора, возле которой замер бульдозер, – почудилось! – лежала эта девочка – лицом вниз, подсунув левую руку под себя, а правой вцепившись в рваное сапожное голенище, торчавшее из мусора. «Теплая была, когда я ее нашла», – проскрипела за спиной Желтуха. Леша растерянно огляделся: заколоченные досками окна магазинов, навесы, под которыми громоздились горы пустых ящиков из-под вина, изрытая земля, бульдозер, сизые ивняки, с трех сторон обступившие базар... Значит, этой ночью, скорее всего – под утро, она выскользнула из дома, презрев материны запреты и мольбы брата, и по пустынным улицам побежала сюда, побежала, дрожа от ночной прохлады, а еще, быть может, от страха, – неужели она ничего не чувствовала, не предчувствовала, зная того, кто заставил ее ночью покинуть постель и, пугливо озираясь, бежать на базар? «Моргач, – не оборачиваясь позвал Леша, – сходи с мужиками в гостиницу...» – «Уже были, – тотчас откликнулся Моргач. – Нету его там, Алексей Федотыч. Зойка говорит: ночью ушел, она и не слыхала – когда». – «Капитолина. – Леша поискал взглядом женщину, сморщился. – Капа, поди к ней... только не одна... с Граммофонихой, что ли... Дусю возьмите, Данголю...» Но она уже расталкивала людей, пробиваясь к участковому, – нет, впрочем, его она даже не видела, – полезла на кучу, а Леша стоял олух олухом и тупо смотрел на ее толстые ноги с варикозными венами, обутые в стоптанные мужские ботинки без шнурков, смотрел, пока она не прикрикнула: «А ну помоги!» – и тогда послушно полез наверх и взялся за ледяные ноги. «Нет, нельзя, – прохрипел он. – Не по закону». – «Да пошел ты, – огрызнулась она. – Господи, зачем же он ее обрил? Да помоги же, сука!» Моргач принес брезент, в который ее и завернули – осторожно, чтобы не оторвалась голова, державшаяся на тонкой ленточке кожи, туда же положили и сверток, найденный неподалеку, – Буяниха заглянула в него – и молча положила рядом с дочкой... Так что этот парень ничего этого не видел, то есть даже не видел ее до той минуты, когда гроб привезли в дом и поставили в самой большой комнате, в этой самой, где сундук, – но тогда он только глянул на нее и отвернулся, и уже через час его не было в городке. Так что и на похоронах его не было. «Конечно, – сказала Буяниха, – я ей не мать. Я матерью только сейчас стала. Это я во всем виновата. (Но в ее голосе не было раскаяния.) Это я запретила ей даже видеться с этим мерзавцем, с этим убийцей, с этим... Его надо найти, Леша. («Его ищут», – сказал Леша.) Да, я сразу распознала, что он за птица: перекаати-поле, вор, бродяга, убийца, у которого никогда не было ни отца, ни тем более матери, он из плесени родился, это же сразу видно. И сюда он явился только затем, чтобы обмануть ее и убить. И

все, что он тут делал, он делал для отвода глаз. И что в гостинице поселился. И что работать пошел. И что детдомовских искал. И что вел себя тихо – до поры до времени, пока не убил того человека... («Никаких доказательств нету», – возразил Леша.) А это твое дело – искать доказательства. Мое дело сказать: это он убил, все знают, хотя никто и не видал. Ну и что? Будто для того, чтобы знать, надо обязательно видеть. Это он заманил того человека на Свалку, убил его и ограбил, а потом закопал в макулатуру, думал небось, что его ненароком в гидропульпер сунут, кардон из него сделают – и всех делов... («Никто не знает, – снова возразил Леша. – Никто до сих пор ничего не знает».) И плевать. И ладно». И даже когда она узнала, что убийца пойман, ее не заинтересовало, кто он такой на самом деле, – только и спросила: «Куда ж он одежду ееную дел?» – и всё. Да и что говорить, если все, что можно, уже было и сказано и сделано: в одну ночь она потеряла и дочь и сына – сына, который не был братом этой девочке, который любил ее, которому она строго-настрого велела выкинуть из головы эту самую любовь, черт бы ее взял: как бы там ни было, она считалась его сестрой. И все. Да и потом, девочка сама сделала выбор – в пользу прищельца с косой челкой и тонкой ниточкой усов на толстой верхней губе, в пользу человека, который ни у кого – ни у кого – не вызывал иного чувства, кроме брезгливости, будто нарочно сам к этому стремился, в пользу этого полукалеки с нарисованными на сером лице серыми глазами...

– Ладно, Леша. – Он снова закурил, откинув длинные волосы со лба. – Чего тут. Ей было наплевать на меня, и я и сам удивляюсь, почему эта история до сих пор не дает мне покоя. В конце концов, она сама выбрала себе судьбу, хотя, конечно, это и было глупо: назло матери – так это выглядело, а может, и было – связаться с человеком, который и ей внушал страх, – я в этом уверен: он внушал ей страх, хотя она, наверное, и не понимала – почему. Она сказала мне тогда: он увезет меня отсюда. А ведь он ничего ей не обещал. Вот она и ушла из дома. Потому что, если бы она осталась со мной, она никуда не ушла бы отсюда, даже если б потом мы и уехали куда-нибудь. Понимаешь? Ей хотелось уехать – в другой мир. Ведь это мать... нет, я не виню ее! Но ведь это мать научила ее грезить о другом мире. Мать и тетка. Но начала мать. Это она называла ее не Верой, а Вероникой, это мать рассказывала ей о райской жизни, о теплом море на юге, где сама никогда не бывала, это мать показала ей платье...

Он соскочил с сундука и рывком поднял крышку.

– Включи свет! Слева!

И когда вспыхнул свет, он достал из сундука (Леша узнал сверток, который положили рядом с мертвой девочкой) изъеденное молью мягкое потускневшее бархатное платье с кружевным воротником – да, алый бархат, сквозивший маленькими дырочками, потускнел и запылится, но платье, как и встарь, было головокружительно красиво, и от каждой его складки веяло той жизнью, где не было вульгарных Верок, а были только прекрасные Вероники, где всегда играла музыка, где плескалось теплое море и шелестели пальмы, – и что там еще придумала эта женщина, которая всю жизнь читала лишь две книги – «Три мушкетера» да «Вечера на хуторе близ Диканьки», которая никогда не видела вблизи мир своей мечты – ну, разве что в «Индийской гробнице» или «Парижских тайнах», – платье, которое надевали только в этой комнате, перед этим тусклым зеркалом, всего несколько раз в году, тайком от всех, даже от домашних, и это, конечно, были праздники мечты – для матери и дочери, – словом, это уже было не платье, но символ другой жизни, той жизни, которую мать не смогла прожить, – может, потому, что дала слово этому человеку, своему мужу, может, просто потому, что у нее не хватило отваги, как знать, – во всяком случае, ее дочь не связала себя словом с тем человеком, который считался ее братом, но не потому, что он считался ее братом, а потому, что он был частью этого – этого – мира, из которого предстояло бежать, и вот она отважилась, она бросилась навстречу тайне, навстречу прекрасному, которое все заставляло себя ждать, – кинулась очертя голову, и, наверное, все-таки не ее вина в том, что этот путь уткнулся в мусорную кучу на базаре...

Он осторожно повесил платье на плечики и пристроил на дверце шкафа.

– Вот и все, – уже спокойно сказал он. – То есть это все, что было в сундуке. Ни денег, ни драгоценностей, ни сберкнижки, ни дракона – мечта. Какая б она ни была. Грязная, пыльная, мятая, траченная молью, пошлая, смертоносная, наконец.

Под утро браконьеры, которые уже несколько ночей подряд выслеживали того, кто рвет их снасти, на песчаном островке ниже водопада забили веслами некое чудовище с обезьяньей головой на длинной шее, конскими ногами и туловищем слепой собаки. В желудке чудовища обнаружили три рваных бредня, ржавую швейную машинку и резко пахнувший водкой граненый стакан. Собаки это мясо жрать отказались.

В полдень похоронная процессия двинулась по Седьмой улице. С непереносимым визгом, разбрызгивая искры из-под колес, остановились три поезда – два товарных и вильнюсский пассажирский. Над крышами городка, над липами и реками, над окрестными полями и лесами поплыл густой голос Трубы – могучего гудка бумажной фабрики. К нему присоединились гудки макаронки и маргаринки, мясокомбината и мельницы, трикотажки и хлебозавода... Загудели тепловозы, подал голос Чарли Чаплин – доживавший свой век на запасных путях, не годившийся уже даже в маневровые паровозик. Гудели автомобили и автобусы, мотоциклы и мопеды. С Преголи донеслись гудки барж, шедших в карьер за песком и гравием. В скорбном молчании замерли птицы в небе, звери в лесах и рыбы в реках.

Во главе похоронной процессии шла Капитолина с маленькой подушечкой, на которой тускло мерцала медаль «Партизану Отечественной войны» первой степени. За нею Геновефа и Данголя несли портрет Буянихи – в последний момент вдруг обнаружилось, что ни у кого не сохранилось ни одной ее фотографии, и пришлось вырезать снимок из районной газеты двадцатилетней давности, на котором сквозь полиграфический туман проступала чья-то фигура в обнимку с коробкой вермишели. Далее следовали двести человек с траурными венками и еще двадцать – с крышкой гроба. С приличествующей случаю скоростью ползла чернолаковая полуторка, в ее открытом на все стороны кузове, устланном ветками ели и туи, стояла лодка (ночью покойницу попытались переложить в мухановский гроб – он развалился) с телом Буянихи, которая сложенными накрест мертвыми руками прижимала к груди какую-то бумажку, подсунутую в последний момент Прокурором.

В первом ряду за машиной, неотрывно глядя на покачивающийся задний борт, шли Валентина, Григорий, Михаил, Петр Большой и Петр Рыжий (тот самый Рыжий, которого однажды ночью разъяренная Буяниха ружейным прикладом выгнала вон из сада, где поджидал эту похотливую дурочку), Иван и Вера-Вероника (Буяна так и не смогли извлечь из сарая, где он что-то остервенело мастерил), а также Солдат Маруся со своими прелестными детьми. За ними шагали Леша Леонтьев в парадном мундире, доктор Шеберстов со всеми орденами на необъятной груди, Прокурор, Мороз Морозыч, Веселая Гертруда, пилот штурмовика, уже получивший прозвище Чиримэ, и черный незнакомец, с которого по-прежнему ручьем текло. Сбоку, отталкиваясь ногами от земли, катил на мопеде с выключенным мотором Вита Маленькая Головка. За ними шли Граммофониха со своей постаревшей дочкой-красавицей; Андрей Фотограф в широкополой шляпе и с длинным шарфом на шее; безмятежный мастер Степан Муханов и его отец Аввакум Муханов с вросшей в губу вечной сигаретой, набитой грузинским чаем высшего сорта; пропахший нафталином и кроличьей мочой Фокусник в черных лакированных ботинках; Миленькая и Масенькая с Мордашкой на руках; Надя Сергеева и шестнадцать ее подруг; одноногий кузнец Любишкин; Валька и Желтуха; дряхлый Афиноген с новеньким языком во рту; слепой Дмитрий; Зойка-с-мясокомбината, известная блудница, питавшаяся сырым мясом; вечно простуженная буфетчица Зинаида; Феня из Красной столовой; цыган Серега; Мишка Чер Сен со своими пятерыми черсенятами; обезьянка Цитриняк; бабушка Почемучето с громко тикающим будильником в ридикюле; Миша Рубшик;

Дуся-Эвдокия без шести пальцев на руках и двух на ногах (память о ленинградской блокаде); Резаный и Сергеюшка с ледяными петушками в зубах; Алеша Рязанцев об руку с Алексеем Сергеевичем Рязанцевым; Стрельцы; Уразовы; Ирус со своей компанией; Моргач, от которого всегда пахло машинным маслом; Разводовы Генка и Вовка – эти, как всегда, пьяненькие; музыканты, привязанные веревками к инструментам; Таня-Ваня верхом на сундуке, с самогонным аппаратом в руках; прокурорские собаки; Калабаха; главврач с льняной бородкой и руками молотобойца; Добродетель, Любовь, Сострадание, Участие и Надежда в легкомысленных одеяниях; редактор районной газеты Юрий Васильевич Буйда со своей женой Еленой Васильевной и детьми Никитой и Машенькой; бумажные фигурки, которые на досуге любил вырезать Прокурор; траченное молью бархатное платье; Пятьдесят Самых Толстых Женщин – среди них по всем статьям выделялась горторговская Лидочка, весившая ровно десять пудов (без ботинок); Аркаша Стратонов, съедавший в один присест ведро вареной картошки; старуха Три Кошки; Плюшка; Серега и Митроха; Миллионер, ставший всеобщим посмешищем после того, как его жена отдала захожей цыганке ветхий полушубок, в котором этот скряга прятал семь лет деньги; Три Богатыря с зелеными бородами и Три Мушкетера; прокурорский стул; пасечник Рудый Панько; воняющий мазутом Князь Тьмы из Гнилой Канавы; красный бык; белый лев; Недотыкомка, непрестанно ковыряющийся в носу; заплаканные сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени; Барыкова – Бессалько; Француз – Хокусай; полупрозрачные золингеновские бритвы; керогазы; браконьеры; Водокачка Буянихи; Мостовые Буянихи; Голуби Буянихи; Водопад Буянихи; Шлюзы Буянихи; Сновидения Буянихи; Облака Буянихи; Солнце, Луна и Звезды Буянихи; Пространство Буянихи; Время Буянихи...

С раннего утра доктор Шеберстов никак не мог избавиться от тягостного предчувствия, что вся эта затея с похоронами добром не кончится. «Помяни! – крикнул он жене. – Не тот случай! Не та баба!» Всю дорогу он ждал какого-нибудь подвоха, поэтому и не удивился, когда Граммофониха шепотом сообщила, что Буяниха, кажется, зашевелилась в лодке, и только распорядился накрыть ее с головы до ног покрывалом. Не удивился он и тому, что, миновав последний мост, на перекрестке у Гаража полуторка заглохла, да и никто не удивился: вот уже почти сорок лет всякий раз она глохла именно на этом месте; однако на этот раз машину завести не удалось. Громко фыркнув, доктор Шеберстов приказал нести гроб на руках, и тотчас сто пятьдесят самых крепких мужчин сняли лодку с машины. Процессия двинулась дальше.

– Цветочки! – громко прошептал доктор Шеберстов Прокурору. – Будет история!

– Мне кажется, – пробормотал Мороз Морозыч, – это будет история о том, как мы не смогли похоронить одну женщину.

Под звуки оркестра, с причитаниями и плачем пестрая змея похоронной процессии свернула возле бывшего детдома в липовую аллею и поднялась на вершину кладбищенского холма, где уже зияла вырытая в желтом песке яма в форме лодки. Гроб бережно опустили на землю.

И вот тут рев медных труб и одиннадцати тысяч семисот пятнадцати женщин вдруг оборвался, и в наступившей тишине кто-то радостно закричал:

– Да это ж Буян! Буян!

Толпа хлынула к ограде и замерла.

По кочковатому полю, подпрыгивая и хлопая, словно крыльями, откинутыми бортами, неслась чернолаковая полуторка, на подножке которой, вцепившись рукой в баранку, кое-как держался Никита Петрович Москвич, озабоченный лишь тем, чтобы не оборвался буксирный трос, к которому был привязан огромный двукрылый воздушный змей, чьи крылья были приделаны к ассенизационной бочке. Широко расставив ноги на верхнем люке, багровый от натуги Буян нещадно погонял Птицу – ветхий конь никак не мог сообразить, он ли это скачет или

некая чудесная сила увлекает его вперед, и мчался с закрытыми от ужаса глазами, хватая воздух широко открытым ртом и раскатисто пукая.

– Буян! – заорал доктор Шеберстов. – Буян! – Он замолчал, подыскивая слова, и вдруг оглушительно захохотал. – Давай, сукин сын! Давай! Дава-а-ай!

И тысячи людей, словно враз обезумев, что было силы закричали:

– Давай! Давай!

Они истошно вопили, размахивали руками, топали ногами, плакали, колотили друг дружку по спинам, хохотали – и неистово, яростно, бешено, самозабвенно требовали чуда:

– Давай, Буян! Давай! Не выдавай! Не выда-а-й!

Птица вдруг отчаянно заболтал ногами в воздухе, ассенизационная бочка подпрыгнула на кочке – и поплыла, плавно покачивая исполинскими крыльями, сшитыми из заплатанных ночных сорочек, чиненых-перечиненых носков, трусов, бюстгалтеров, халатов без пуговиц и пальто со шкурой неведомого зверя на воротнике, – выше и выше, над полем, над лесами, над крышами городка, пропахшего елью и туей, и тут люди вдруг разом обернулись и увидели, как из-под покрывала, закрывавшего Буяниху, выпорхнул белый голубь («Ну вот, – сказал доктор Шеберстов. – Ягодки»), тотчас прыгнувший в небо и помчавшийся за ассенизационным змеем, за первым голубем порхнул второй, третий, десятый, сотый, и вот уже тысячи, тысячи тысяч голубей, громко хлопая крыльями, гигантским клубящимся столбом белого дыма уходили в небеса – в Дом, где и эта – и эта судьба будет измерена мерою человеческою, какова мера и Ангела...

В наступившей тишине особенно хорошо было слышно, как со скрипом взмахнул крыльями железный золотой петушок, стряхивая ржавчину на школьную крышу, как забилося у него в горле, заклокотало и, наконец, вылетело и полетело над городком:

– Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!..

Ева Ева

Предчувствие, предощущение щедрой любви и неисчерпаемого счастья вызывала у всех Евдокия Евгеньевна Небесихина, прибывшая в городок одним из первых эшелонов, которые доставили в послевоенную Восточную Пруссию российских переселенцев. Смущенно-боязливо вслушивались они в звучание имен древних городов – Кенигсберг, Тильзит, Инстербург, Велау, приглядывались к чужой этой земле – тесным полям и вычищенным лесам, узким асфальтовым дорогам и каменным домам с черепичными крышами, под которыми обитали те, чьи дети жгли их псковские, смоленские, орловские деревни. Смущенно-боязливо ступали они по мелким синим камням перронов и жались поближе к солдатам и офицерам своей армии, вольготно расположившейся и уже обжившейся во всех этих «ау» и «бургах». И только Евдокия Евгеньевна смотрела по сторонам и улыбалась так естественно и легко, словно была законной наследницей этого семисотлетнего владения, уткнувшегося своими тесными полями, полдерами и белыми дюнами в холодные воды Балтийского моря. Солдаты и офицеры с интересом поглядывали на державшуюся особняком златоглазую красавицу с маленьким чемоданчиком в руках. «Магнитная женщина», – громко сказал черноусый сержант, но она только скользнула по нему чуточку насмешливым взглядом – и уверенным шагом направилась в сторону детдома. Наутро уже все знали, что в детдоме появилась новая сестра-медичка. Евдокия Евгеньевна. Ева Ева.

Черноусый сержант был прав: Ева Ева и впрямь оказалась магнитной женщиной. Мужчины влюблялись в нее с первого взгляда, дети бросались по первому ее зову, и даже женщины простили ей ее красоту с первого раза.

Дважды переходивший из рук в руки, разбитый и сожженный городок, населенный истосковавшимися по дому русскими солдатами и молчаливыми немцами, которые, шатаясь от голода, мыли тротуары с золой вместо мыла и меняли девственность своих дочерей на кусок солдатского хлеба, – этот пострадавший, скукоженный, обгорелый городишко ожил с появлением Евы Евы. Вдруг пышно зацвели яблони и каштаны, вдруг вернулись птицы, переживавшие войну в краях, где не выходят газеты, вдруг пришли в охоту застоявшиеся черные быки и их ост-фризские невесты... И даже костлявая Марта, чьи сыновья погибли в Африке и на Волге, брала метлу на караул, пропуская машины с хохочущими солдатами через железнодорожный переезд...

Кто только не пытался ухаживать за Евой Евой! Генералы и солдаты, офицеры и интенданты всех родов войск, расположенных в городке. Одно ее имя нередко служило поводом для ссоры и зубодробительного разбирательства. Двое молодых летчиков, поспорив из-за златоглазой женщины, подняли в воздух свои истребители, чтобы решить спор лобовым тараном. А она лишь посмеивалась и принимала в подарок только цветы, хотя перед нею были открыты все репарационные склады Восточной Пруссии.

Каково же было наше изумление и возмущение, когда мы узнали, что Ева Ева стала жить с немцем Гансом. Господи, с Гансом. С этим недотепистым длинноруким парнем, над которым посмеивались даже немцы. В детдоме он исполнял обязанности сторожа, истопника, садовника и скотника. Он был дисциплинирован и кроток: даже если его бранили, он лишь согласно кивал, пытаясь растянуть губы в улыбке. Это, впрочем, ему не удавалось: осколок фугасного снаряда пробил ему обе щеки, вышибив половину зубов и напрочь вырвав язык. И вот однажды его увидели выходящим утром из ее комнаты. Как и когда они сблизились, как и когда они поняли, что должны быть вместе, и как при этом обошлись без слов – ведомо одному богу, который пасет немых и красавиц. На вопрос же начальника детдома майора Репринцева она ответила с обезоруживающей улыбкой: «Люблю. Жалею». И все. Женщина, при взгляде на которую тотчас свихивались все существа мужского пола от генералов до воробьев.

Смехом парализовала она и нашу слабую попытку подвергнуть ее остракизму, а самым настойчивым продемонстрировала никелированный браунинг с дарственной надписью на рукоятке – «от маршала Жукова».

Ночами же мужчины на окрестных улицах до утра ворочались в своих постелях и беспрестанно жевали бумажные мундштуки папирос, прислушиваясь к ее счастливым стонам и вызывающе бессмысленному мычанию ее возлюбленного. Посмотреть на него приходили даже из авиаполка, расположенного в семи километрах от городка. Трогать его, впрочем, остерегались – отчасти из нежелания ссориться с Евой, отчасти, скажем честно, из уважения к его физической силе: Ганс двумя пальцами отворачивал ржавые гайки на ступице автомобильного колеса. Когда же комендант полковник Милованов под благовидным предлогом запер его в кутузке, Ева Ева просто пришла, просто взяла со стола в комендатуре ключи и просто освободила немого, в то время как все, кто там был, включая часовых и полковника Милованова, лишь молча проводили ее восхищенными взглядами. Ганс на руках отнес ее домой. «Их либе дих, – не стесняясь окружающих, говорила она ему. – Я хочу ребенка. Я хочу забрюхатеть. – И, проглатывая первый звук его имени, звала его таким голосом, что в ее сторону поворачивались даже фаллические хоботы танковых орудий: – Аннес... Аннес...»

Шло время, а Ева не беременела.

С разрешения майора Репринцева она усыновила однорукого десятилетнего мальчика, прозванного детьми Сусиком (Иисусиком). Это был молчаливый парнишка, единственным развлечением которого была стрельба из рогатки по немецким жителям, боявшимся его как огня: бил он стальными шариками от подшипников, подаренных танкистами детскому дому на игрушки. К новому своему положению он отнесся совершенно равнодушно. Он не позволял Еве одевать или раздевать себя, ходил в баню с солдатами, с ними и столовался, домой приходил лишь переночевать. Ева Ева покорно сносила его оскорбления («Немецкая шлюха! Гитлеровская подстилка!» – ледяным тоном выщевивал он из своего косо прорезанного рта), покорно дожидалась его возвращений, чтобы, убедившись, что он заснул, поцеловать его в закрытые глаза.

Детдомовские его недолюбливали и в играх спуска не давали. Когда затевали игру в войну, ему чаще всего выпадала роль пленного на допросе. Его били сложенным вдвое телефонным проводом, прижигали живот папиросой и загоняли под ногти иголки. Стиснув зубы, Сусик молчал, доводя «врагов» до остервенения. «Добром это не кончится», – предупреждал Еву начальник детдома.

И он оказался прав. Играя в войну, ребята повесили Сусика на сосне и устроили состязание в меткости: кто попадет ему камнем в сведенные судорогой губы. А когда попали, изо рта вдруг вывалился непомерно длинный фиолетовый язык.

Ганс принес на руках в больницу потерявшую сознание Еву. Доктор Шеберстов растегнул на ней халат и присвистнул, увидев чудовищный шрам, тянувшийся извилистой гроздью от левой груди к золотистому лобку.

– Откуда это? – спросил он, когда Ева Ева пришла в себя и он тщательно ее обследовал.

– Из-под Варшавы. Я была санинструктором в пехоте.

Доктор Шеберстов сглотнул:

– Евдокия Евгеньевна, я должен вам сказать, что у вас... что вы, скорее всего, никогда не сможете родить...

Она долго молчала, лежа на кушетке с закрытыми глазами. Потом села, подняла глаза на врача, прятавшего руки за спиной.

– Тогда зачем мне все это? – тихо спросила она, коснувшись рукой своей груди. – И это... и это... Зачем? Выходит, гожусь только в бляди?

– Война. – Доктор отвел взгляд.

– За что, господи? – Она порывисто запахла халат. – Меня-то – за что?

– Война не вина, – пробормотал Шеберстов. – Не вина.

Несколько дней она не выходила из своей комнаты. Лежала ничком на кровати, то засыпая, то просыпаясь и тупо вслушиваясь в шум крови.

В дверь постучали. Она не ответила.

– Ева, – позвала кастелянша Настенька, – Евушка, да не убивайся ты так. Пойдем, небось на станции они еще.

Евдокия с трудом оторвала голову от подушки:

– Кто?

– Кто-кто? Немцы, конечно.

– Какие немцы? – не доходило до нее.

Настенька склонилась над нею:

– Да ты чего, девонька? Или заболела?

– Нет. – Она села на кровати. – Что случилось?

– Высылают их всех. Немцев да немчих с немчатами. По пуду барахлишка на душу – и аффвидерзей. Моя хозяйка ручку медную от двери отвернула – на память.

– Почему высылают? – Ева уже стояла, быстро застегиваясь и поправляя прическу. – Ничего не понимаю. – Глянула в окно: двое солдат с автоматами гнали куда-то посередине булыжной мостовой старуху Марту. – За что их? Куда?

– В Германию. Приказ такой из Москвы. Да не скачи ты, я своего попрошу – на машине вмиг добросит.

Черноусый сержант помог женщинам выбраться из машины, крикнул часовому:

– Они со мной!

Их пропустили.

Далеко впереди тяжело, натужно и редко пыхал паровоз. Солдаты с грохотом закрывали двери товарных вагонов, не обращая внимания на мертво стоявших в проемах немцев, офицеры навешивали пломбы.

– Ганс! – крикнула Ева в ближайший вагон. – Аннес, родной мой!

Молодой офицер в форме МГБ отвернулся и, ломая спичку за спичкой, закурил.

Она бросилась вдоль косо освещенного прожекторами поезда. За нею побежала сдобная Настенька.

– Аннес! Ты где? Где ты? Не пущу! – кричала Ева, на бегу отбиваясь от Настеньки. – Не пущу-у-у!

Набежавшие из темноты солдаты повалили ее на перрон, прижали к брусчатке.

Поезд залязгал и тронулся.

– Аннес!

Ева вырвалась и, спотыкаясь, бросилась в зал ожидания.

– Телеграмму! – страшно закричала она в окошечко юной телеграфисточке. – Телеграмму Сталину! Молнию!

Подошедший сзади давешний гэбист осторожно взял ее за локоть. Она, не глядя, резко оттолкнула его.

– Телеграмму!..

Телеграфисточка отвернулась.

– Пожалуйста, – громко прошептал гэбист, хотя, кроме них, в зале никого не было. – Уйдемте. Это приказ. Понимаете? Приказ.

Несколько мгновений она смотрела на него словно слепая. Он взял ее за руку и повел. В дверях ее подхватила запыхавшаяся Настенька.

– Пойдем, миленькая... спасибочки, товарищ кавалер... Пойдем...

В машине черноусый сержант долго раскуривал папиросу, потом вдруг сказал, глядя в темноту:

– Полковник Милованов застрелился. – Пыхнул дымом. – Из-за Эльзы своей. Депортация, бабоньки. – И выжал сцепление.

На следующий день Ева Ева взяла расчет и купила билет до Москвы. Затянутая в узкий модный костюм, в туфлях на высоких каблуках, благоухающая духами, она явилась на вокзал за минуту до отправления курьерского.

Больше мы ее не видели. Только и узнали потом, что она долго стояла с папиросой в тамбуре, не отвечая на вопросы проводника, – он-то, проводник, и заподозрил неладное, когда после Вильнюса в очередной раз выглянул в тамбур и увидел открытую настежь дверь и узкую дамскую сумочку, мотающуюся на вагонном поручне. Изувеченное тело нашли в придорожном ежевичнике: пробитый пулей висок, никелированный пистолет в судорожно сжатой и переломанной руке, ноги в крови и креозоте, – мертвая, конечно, мертвая, – но это уже была не Ева Ева. Нет, нет, это была не она, не златоглазая Ева Ева, вызывавшая у всех екающее под сердцем предчувствие, предошущение щедрой любви и неисчерпаемого счастья...

Рита Шмидт Кто Угодно

Не знаю. – Костлявый старик в мятом полотняном костюме откинулся на спинку – гнутые полозья кресла-качалки со скрипом перебрали неровные доски пола, от которого тянуло пряным запахом масляной краски вперемешку с сосновой смолой. – Не знаю и никто не знает, почему она решила оставить свою дочь здесь. И почему именно у этих баб. Может, боялась, что девочка дороги не выдержит. Кто ж знал, куда их повезут. – Он закурил. Одиноким костлявый старик в неважно выстиранном и неглаженном полотняном костюме с пожелтевшими лацканами и обшлагами, в надвинутой до бровей соломенной шляпе с узкими полями и неровно обхватывающей тулью шелковой ленточкой неопределенного цвета, в черных потрескавшихся ботинках, из которых торчали тощие волосатые лодыжки. Один в комнате с кафельной печкой в углу и этажеркой-самоделькой, уставленной книгами в расслоившихся картонных переплетках и пыльными чайными стаканами, в которых в пыльной паутине косо висели папиросные окурки с изжеванными мундштуками, мелко дрожавшие, когда мимо двора проезжал грузовик, погромыхивая на булыжной мостовой. – Мы-то и то не знали, что немцев будут выселять. Так, догадывались, может, некоторые. Догадывались, хотя не очень-то верили. Их же тыщи жили тут, в своих домах. Это мы были приезжие, сброд блатных и нищих, кто откуда, приехали-уехали. А они тут, в этой своей Восточной Пруссии, жили и уж семьсот лет как хоронили своих покойников. – Он стряхнул пепел на пол. – Ну вот она и пришла к этим бабам. Ни с того ни с сего. С девочкой своей, завернутой в желтое суконное одеяло с подпалиной от утюга. К этим двум кобылам, Марфе и Марии, у которых и я жил. Маленький еврейчик, подобранный двумя ведьмами рыжий жиденок. – Он сухо покашлял. Молодой человек поморщился. – Значит, к Марфе и Марии. С дочкой. Те и не удивились. Отдает так отдает. Мало ли. Чего не бывает. Есть жиденок, пусть будет и немчонок. Где телок, там и свинка. Ведь не бесплатно. В придачу к девочке – шесть суповых серебряных ложек и крохотные серебряные часики в форме раковины с перламутровой крышечкой. По-честному. Клади ее куда-нибудь, ну вот хоть туда, на стол, ох и жмоты вы, фашисты, шесть ложек да часишки, что это у нее в руке-то? В руке у Риты был зажат пучок овсяной соломы, которую она, едва оказавшись на столе, потянула в рот. Животная, экие вы, немцы, ну да Господь вам судья, все-то у вас не по-людски. Вот и все. Вечером всех немцев под конвоем спровадили на станцию, посадили в телячьи вагоны и отправили. Осталась одна Рита. Да еще Веселая Гертруда, безумная старуха, то ли немка, то ли литовка, приплясывавшая босиком в дорожной пыли и громко распевавшая всегда одно и то же: «Зайд умшлюнген, миллионен, дизен кюс дер ганцен вельт!» И больше никого, ни одного немца. Как и не было. Дома под черепичными кровлями, кирпичи, мощенные булыжником улицы и асфальтовые дороги, густо обсаженные липами, узкие каналы и медлительные шлюзы, блеклое немецкое небо над плоским Балтийским морем – это да, это осталось, но все это в одночасье стало нашим. Пугающе нашим. Ну и барахло, конечно, которое им не дали увезти с собой (разрешили пуд вещей на человека, поэтому брали только еду да отвинченные от входных дверей бронзовые ручки с львиными головами – на память), барахло: фарфор и фаянс, книги и мебель, кофейники и картины... Так что шесть серебряных ложек вскоре легли к другим, одна к одной. Плюс серебряные часики в форме раковины с перламутровой крышечкой. И все. Пустота. И в этой пустоте – девочка с пучком овсяной соломы во рту и безумная старуха, босиком пляшущая в привокзальной пыли: «Зайд умшлюнген, миллионен!» И две бабы лошадиной стати, сестры с квадратными лицами, окаймленными темными платками, и с одинаковыми вислыми бородавками-родинками на жилистых шеях, в клеенчатых фартуках и мужских ботинках, зашнурованных желтой бечевкой с захватанными до черноты концами. Единственное, что было известно из их прошлой жизни, это что их родителей каратели сожгли в избе, а их жених погиб на фронте. Их жених, понятно? Один на двоих. Но так уж выходило

по их словам, ибо если они и открывали рты, то рассказывали об одном и том же парне: могучий крестьянин, сапоги с головками, фуражка с лаковым козырьком, гармонь, голубые глаза («Серые», – поправляла Мария. «Голубые», – шипела Марфа. «Как хочешь, – тотчас сдавалась Мария. – Все равно серые»). Он пал при штурме Кенигсберга. Чтобы его убить, пришлось выкатить на прямую наводку огромную пушку и ударить снарядом в самое сердце. Нет, его взяли в плен и долго мучили. По живому резали ножом. Шилом выковыривали глаза. С мясом рвали ногти. Глумились над мертвым. Чей же он был жених? И был ли? Был. Мой. «Нет, – кротко возражала Мария. – Мой. Мы целовались». – «А хоть бы и ебались! – шипела Марфа. – Он обещал жениться на мне. Если бы не эти сволочи... если б не немцы...» – «Если б не они, – откликнулась Мария, – антихристово племя». И обе с ненавистью смотрели на ползавшую по полу Риту. «Тогда зачем вы ее взяли? – спросила Буяниха. – Из-за ложек, что ли, или из-за этих часов сраных?» Сестры молча переглянулись. «Господь знает, – ответила Марфа со странной улыбкой. – Он все видит и знает». И обе истово крестились, испепеляя друг дружку ненавидящими взглядами.

Такой же вопрос задал им и Кальсоныч, когда они наконец явились в поссовет регистрировать девочку. Без этого куда? Никуда. Как ее звать-то? Рита. Маргарита. А отца? Гитлер. Адольф Гитлер. «Ты это брось, – поморщился председатель поссовета. – Мы тут не в игрушки играемся». Гитлер. Адольф. Понимаешь? Кальсоныч покраснел. «Адольф так Адольф, дурынды! – закричал он. – Я тоже Адольф, ну и что? Мало ли адольфов бегают. А тот никакой не Адольф, а Адольф Гитлер. Чуешь разницу?» Адольф. Только фамилия его Шмидт. Но это, может, для дураков. Никто ведь не видел шмидтихиного мужика. Может, и не было его вовсе. То есть, может, солдат, может, еще кто. Тот же Адольф. «Прикуси язык! – взвился Кальсоныч. – Никаких шмидтов тут больше нет и никогда не будет. Кузнецовой запишем. Кузнецова Рита Адольфовна, тьфу! Пиши, говорю. И не приплетай сюда антихриста!» Марфа с улыбкой воззрилась на председателя. «Антихриста, – прошептала Мария. – Ты слышишь, Марфа?» – «Слышу», – ответила та, напугав Кальсоныча. А чем – он и сам не понял. Зато у девочки появился документ – свидетельство о рождении Кузнецовой Маргариты Адольфовны, русской. Все, кто не немцы и евреи, – русские. Как полагается, чин по чину, а то как же.

Старик вместе с креслом-качалкой, упершись пятками в пол, развернулся спиной к окну. Бросил погасшую папиросу в стакан. Пока племянник заваривал чай и готовил бутерброды в грязноватой кухонке с закопченными стенами и потолком, с ржавой по углам раковиной и ведром под ней, старик сидел не шелохнувшись, с закрытыми глазами – казалось, заснул, – но как только молодой человек возник в дверном проеме, как он развел костлявыми руками и дурашливо выкрикнул:

– И стали они жить-поживать! Добра наживать!

Племянник втащил в комнатку шаткий столик, пристроил на него чайник, тарелку с бутербродами и бутылку водки. Покосился на пыльные стаканы.

– Из чашек! – приказал старик. – Мне полную. – Выпил, не отрываясь, дергая огромным кадыком, понюхал хлеб, со слабым стоном выдохнул. Лицо его покраснело. – А ты не похож на меня. – Поднял руку: – Помолчи. Ты и на сестру не похож. Это ж надо. – Покачивая головой, достал из кармана мятую пачку «Беломора». – Отыскали. Через столько лет.

– Столько лет и искали, – сказал племянник. – С самой войны. Мама всегда верила, что найдем.

– Ну да, да. – Старик быстро покивал. Прикурил, с видимым удовольствием затянулся дымом. – Да ты ешь, не стесняйся. Да... Война. Как, говоришь, это будет по-нашенски?

– Голокауст, – ответил племянник. – Катастрофа. Шоа.

Ему были неприятны все эти «по-нашенски», «ихний», «чин по чину», ему было неприятно, что дядя вовсе, кажется, и не воспринимает себя евреем. «Грязный старик», – неожи-

данно для себя выругался молодой человек и покраснел до слез, поймав себя на этом. Да и старик... ему ведь не было и шестидесяти. В сорок втором, когда он потерялся, ему было шесть... или восемь?

– Голокауст, – со вкусом повторил старик. – Звучит лучше, чем – катастрофа. Катастроф было много, а Голокауст – один. Одна. – Он виновато посмотрел на племянника: – Ты извини, никак не привыкну. Я всегда знал, что я еврей, но не знал, что это такое. Так уж сложилось. Голокауст, сынок. – Он поперхнулся дымом, закашлялся, помахал рукой перед лицом. – У меня всего одна жизнь и та – там... тогда... – Он налил себе полчашки водки, неторопливо выпил. – Одна-одинешенька.

– Извини, – пробормотал племянник, – я так и не понял, зачем этим женщинам нужна была девочка... эта Рита?

– Не знаю. – Он снова надвинул шляпу на лоб. – Чтоб ненавидеть. Чтоб любить. – Помолчал. – Чтоб жила. Бог дал – не нам отнимать. М-да... По вечерам Марфа ставила ее на колени перед иконой и говорила: «Ты дочь антихриста. Ты немка. Ты должна молиться даже во сне. Ты должна пострадать. Ты должна искупить». Что должна была искупить эта молчаливая темноглазая девочка, не знавшая ни слова по-немецки, до пятнадцати лет говорившая «колидор» и до шестнадцати – «пинжак»? Чью вину искупать? Немецкую? Или какую? Она была тиха и бессловесна. Она ходила за коровой и свиньями, с утра до вечера вместе с ведьмами копалась в огороде, стирала свои и чужие тряпки, и это лет с пяти, как заведенная, без единого слова жалобы. Так и должно быть, да, она должна пострадать, да, она должна искупить. Что это означает? Не знаю. Как Бог скажет. Он скажет. Скажет же когда-нибудь: «Прииди, Рита, сучка немецкая, вот Я буду казнить тебя, даже не судить, но сразу – казнить. Только за то, что ты родилась не там и не тогда, за то, что в твоих жилах течет немецкая кровь, за то, что твои сородичи сотворили Голокауст, за то, что Я – Бог евреев и русских, а ты – немка...» – Он вдруг остановился. – Дыха не хватает. Да. Я-то держался в сторонке. Хромой рыжий еврей, подавшийся в подмастерья к парикмахеру со странным прозвищем По Имени Лев. Всякого, кто входил в парикмахерскую, он приветствовал, как было принято: «Здорово, директор». Полагалось отвечать: «Здорово, начальник». Или: «Здоровее видали». Так уж полагалось. У этих ведьм я жил наверху, в маленькой комнатенке в одно окно, с низким потолком, я никогда не мог выпрямиться во весь рост. Иногда она поднималась ко мне. Сидела тихонько в уголке. Губами шевелила. Ты чего, Рита? Посмотрит, головой покачает: ничего, и уйдет. Или продолжает сидеть на корточках, выставив голые коленки из-под коротенького платица, стирального-застиранного, штопаного-перештопанного. Пахло от нее хозяйственным мылом. Больше ничем. О чем думаешь? О Боге. И что ты о нем думаешь? Какой он. И какой он? Не знаю. Судья. Да, конечно, но какой? Никакой. И вдруг она: а у Бога душа есть? Тогда мой черед: не знаю. Спроси у Марфы. Молчит. Конечно, не спросит. Одно и то же: придет из школы, наскоро сделает уроки (училась как все, то есть неважно училась) – и за хозяйство. Страдать. Искупать. Летом у Марии, ходившей с мая до октября босиком, трескались пятки, в трещинках заводились крошечные червячки. По вечерам Рита спичкой остороженько выковыривала этих червячков. Щекотно и больно. Мария ложилась на постель, Рита пристраивалась на корточках со спичкой и начинала ковырять бабьи пятки. Мария глубоко дышала и то взвизгивала – «Щекотно же, дура!», то кричала – «Потише там!». Рита сжимала губы в ниточку и с намернувшимися на глаза слезами продолжала орудовать спичкой. Мария дышала все глубже, вздрагивала, стонала, вдруг вскакивала с кровати, сгребала Риту в охапку, прижимала к своему животу, крепко-крепко прижимала, вдавливала, тискала – и вдруг с протяжным стоном отпускала, отталкивала. «Птенчуженька моя, – тонким, бессильным голосом пела, – птиченька моя...» И долго лежала навзничь, бессмысленно уставившись в потолок. Рита уползала в свой угол и старалась не смотреть на Марию. Она ничего не понимала. Ей было страшно. Эти бабы вызывали у нее только ужас. Ну не каждую минуту, конечно, но чаще всего. Часто. По малей-

шему поводу ее били. Била Марфа. Что волчонком смотришь? Чего смотришь, говорю, сучка, а? А ну-ка. Ну-ка. Девочка покорно стягивала с себя платье. Ну-ну. Снимала чулки. Давай, давай, некому тут твои прелести красть. Снимала линялый, стиранный-перестиранный лифчик, прикрывавший едва наклонувшиеся груди. Потом застиранные же до бесцветья трусы, оставившие резинкой жеваный след на выпуклом детском животе. Иди сюда. Шла. Ну! Опускалась на четвереньки. Марфа обхватывала ее коленями и била что было сил сложенной вдвое бельевой веревкой по розовой детской заднице, на которой тотчас вспухали красные следы. Еще. Еще! Марфа дышала глубоко и прерывисто, глаза ее стекленели, лицо каменело в улыбке. Девочка вздрагивала при каждом ударе. Кричи. Девочка кричала. Еще кричи. Она кричала громче. Она вопила. Марфа закидывала голову, она била уже ладонью, обеими ладонями, она рвала пальцами то, что дрожало и билось под нею... Понимаешь? – Старик резко наклонился к племяннику, пол под креслом-качалкой громко заскрипел. Племянник кивнул. – Я сказал: еще раз увижу или услышу – убью. Это кого ты убьешь? Тебя. И тебя. Они переглянулись. «Жалостливый какой, – сказала Марфа. – Она немка. Она нас любит. Да, Рита?» Да, конечно. Я этого не касаюсь, сказал я. Я и сам-то еврей. Но если еще раз услышу, увижу или узнаю, что вы с ней вытворяете, – понятно? А ты чего молчишь? Она подняла на меня глаза. Яша, я люблю Марфу. И Марию. Не говори глупости. Яша, я люблю... На следующий день, когда я вернулся из парикмахерской, дверь оказалась запертой изнутри, а на крыльце – свернутое в трубку суконное одеяло с подпалиной от утюга и узелок с моим барахлишком. Что ж. Ладно. Я ударил в дверь ногой и крикнул как можно громче: «Все равно: увижу, или услышу, или узнаю – убью. Ясно?» По Имени Лев звал меня к себе, но я отказался: у него была большая семья, теснившаяся в одной комнатке, и тогда он выбил мне угол над парикмахерской, где потом ателье устроили. Она продолжала жить у этих баб, куда ж ей было податься, если никого у нее не было, кроме этих ведьм. Школа-хлев-огород. Огород-хлев-школа. Темноглазая молчаливая девочка, боявшаяся музыки...

– Музыки? – переспросил племянник.

– Музыки, – повторил старик. – Самой что ни на есть обыкновенной музыки. У старух был патефон и куча заезженных пластинок. Разные там «Утомленное солнце» и «Брызги шампанского», довоенный бонтон. Раз в месяц они ездили в церковь – за сто верст, в Литву, возвращались поздно, обе слегка навеселе, пили вино и слушали патефон. Компанию им составлял часовой мастер по прозвищу Ахтунг – державшийся всегда очень так прямо, с высоченным чистым лбом над сильно выдающимися надбровными дугами, под которыми в темной глубине прятались черные глаза. Может, и не черные – разглядеть было нельзя. Губы у него всегда блестели, словно смазанные жиром. Красивые губы. Высокий, сухопарый мужчина, сопровождавший баб в церковь, но сам в нее никогда не заглядывавший. Пока они там обрядовали, он бродил по кибартайским магазинам или посиживал на лавочке. Высокий, сухопарый мужик в черном костюме, с газеткой, с папироской, с чуть искривленными в вечной усмешке губами, подчеркнута аккуратный, следивший за собой холостяк, мужчина что надо. Немногословный, вежливый. Работал он часовым мастером, целыми днями горбился за стеклянной перегородкой в закутке возле обувного магазина, с лупой, которую он изредка сдвигал на лоб. Не знаю почему, хотя догадаться можно, в детстве я боялся слова «ахтунг». Часовщика это забавляло. Ни с того ни с сего он кричал: «Ахтунг!» – и хохотал, наблюдая за мечущимся еврейчиком, норовящим забиться в уголок потемнее. Марфа и Мария мягко укоряли его. Часовщик приносил с собой пластинки. Однажды поставили Моцарта. Да, Моцарта. Не помню, что именно, помню только буквы на бумажке: Моцарт. Бабы захмыкали: «Симфонию пилят». Маленькая Рита слушала с расширенными от недоумения, а потом и от ужаса глазами – и вдруг поползла с табуретки, медленно поползла, хватаясь руками за Марию, ткнулась лицом в ее колено и отвалилась набок на полу. Это вызвало переполох. Девочку привели в чувство. Винегрет, может, дурной? Да нет, обижаешь. И только потом поняли: музыка. Ахтунг завел патефон, все повто-

рилось. Моцарта больше не ставили. Ахтунг с усмешечкой грозил Рите пальцем: «Баловаться будешь – музыку заведу!» Музыку. Все остальное не музыка. И даже когда она повзрослела, при звуках скрипок ее бросало в жар, в дрожь – во что там еще бросает? – хотя в обморок больше и не падала. Уходила в огород, в хлев, подальше куда-нибудь. Странно.

– Странно, – согласился племянник. – Вот и солнце... – Он запнулся: «Господи, что я несу!» – Странно.

– Странно, да. – Старик кивнул. – Этот-то часовщик... – Он снова плеснул водки в свою чашку – на доньшко. – Рита хороша стала, как подросла. Очень похорошела. Я каждый день встречал ее из школы, провожал до моста – дальше было нельзя, мамки увидят. Это она их так называла: мамки. Ну а как еще? Мамки и мамки. Шли себе, разговаривали или молчали. Бедно одетая девочка и бедно одетый хромым и тощий парикмахер. Давай портфель поднесу. Не надо, увидят. Ну не надо – так не надо. И чего ты их так боишься? Сволочи. Не надо, Яша. Они же бьют тебя. Больше не бьют. Больше! А меньше бьют? Яша, я же ихняя. Это как? У меня нет матери, они мне заместо матери, как же ты не понимаешь? Я – ихняя. Они – мои. (Я знал, что эта кроткая девочка вступала в драку, если при ней оскорбляли Марфу или Марию, – и не мог этого понять.) Что ж, мне они тоже вроде мамок были: они спасли меня, еврейского мальчика, бежавшего куда глаза глядят от карателей. Ну вот, ты понимаешь. И у них нет никого, кроме нас. Только сказать это они не могут. Мы подходили к мосту. Я пошла. Я пошел. Рита, я... Не надо, Яша, не трогай... Ну я-то, положим, и не думал трогать. Другие нашлись, это я потом только узнал, от нее же и узнал. Дай-ка... вон там, в духовке...

Племянник нашарил в холодной духовке несколько пачек папирос.

– Ну, – хмыкнул старик, – одной хватит. Брось туда. Или туда. – Он долго разминал костлявыми пальцами табак. В доме было тихо. За рекой, на станции, погромыхивали составы с нефтью. Темнело. – Пацаны ее на речке поймали. – Он сморщился, прикуривая, звучно чмокая, мотнул головой. – Ну какие пацаны... подростки, парни лет по пятнадцать-шестнадцать... Самое то. Понимаешь? Она купалась подальше от всех, выбирала уголки поукромнее, прогалины в ивняках. Быстро разденется – и в воду. Наплавается, натянет одежду на мокрое тело – и скорее домой. А тут ее поймали. Прихватили. Шестеро или семеро их там было, что ли. – Помолчал. – Ты чего это все тайком да молчком? У нас компания, давай-ка с нами искупнемся, ну, чего там, давай! Один схватил за плечи, другой за ноги, бросили в воду, стоят, смеются. Она сделала круг, схватилась за ивовую ветку, из воды не выходит, ждет, молча смотрит, смотрит настороженно, испуганно. Чего смотришь? Вылезай. Да вылезай, не бойся, все равно достанем. Протянули руку, помогли выбраться на берег. Ирус – рыжий такой был, король Семерки, с ним его команда. А она ничего, а? Ничего. Поиграемся, а? В дочки-матери, а? Ты как – за? Мы – за, единогласно, ха-ха, сыграем в бутылочку, по-честному, а? Крутанули пустую бутылку. С ним. Да не бойся, не укусит! Мне домой надо. Всем домой надо. Не помрешь. Домой мне надо, пустите. Пожалуйста. – Старик закричал, ворочаясь в кресле, – заскрипели половицы. – Уж это ее дурацкое «пожалуйста»! С головой выдает. Тю-тю-тю! Какие мы нежные! Не трогайте. Глянь-ка, а это у нее что? Неужто сиськи? И тут чего-то... а? Глянь, уже волосатенькая! А мы-то, дураки, все ее за девочку держим. А у нее уже волосенки на пизденке! Пусти. Пусти. Ну-ну, только пикни. Всплывешь у шлюза – и всех делов. Следствие ведут, да куда забредут? Она попыталась вырваться, поскользнулась и упала, замолотила ногами, отбиваясь от парней. Ее ударили, потом еще. Она вскрикнула, но тотчас замолчала. Пожалуйста, ну, пожалуйста, – словно и не понимала, что этим своим «пожалуйста» лишает себя защиты – их страха. Кто-то перочинным ножом, торопясь и нервничая, подцепил резинку трусов, царапнул кожу, выступила кровь – они испугались, она вскрикнула, но снова – «пожалуйста», ах ты фашистская шалава! ах ты блядьюга немецкая! Испуганная до немоты, она отползала к воде, не обращая внимания на выступившую кровь, на расхлестанные ножом трусики, – раненое животное пыталось спастись в воде, и они это поняли... Ирус расстегнул брюки, он был старше их всех и

потому владел собой, достаточно владел собой, у остальных это просто не получилось бы... Она, не отрываясь, смотрела на его руки, расстегивавшие пуговицу за пуговицей. Что, интересно, ах ты, скотина, ты думаешь, мы тебя по-людски? Мы тебя как бабу? На! Она замерла. Пацаны возбужденно смеялись. А Ирус, растопырившись, поливал ее желтой мочой – поливал живот, и моча стекала на бедра... Ссыте на нее! В рот ей! А ну-ка стоп!

Племянник вздрогнул.

– Это Ахтунг, – со слабой улыбкой пояснил дядя. – Такой цирк. Всего-навсего Ахтунг, часовщик. Как из-под земли. Или как с неба. Но если злоупотреблять сравнениями, то, конечно, из-под земли. А ну-ка стоп. Они бросились врассыпную, этого они не ожидали. Она лежала на стылой глине, глядя на него снизу вверх, маленькая, совсем маленькая, жалкая, беспомощная, жаждущая чуда – и вот оно! Ахтунг! Бог. Это ведь только потом выяснилось, что он с самого начала прятался в кустах, еще до того, как появились пацаны. Подглядывал за нею, что ли. Подглядывал, наверное. И таки не выдержал, когда они добрались до нее. Она смотрела на него как на бога-избавителя, вся в его власти, от макушки до пят, совершенно голая, с царпиной в низу живота, жертва, бери – не хочу, полудевочка-полудевушка. Что он тогда увидел в ее глазах? И вообще, можно ли хоть что-нибудь разглядеть в глазах загнанного животного? Ну, благодарность: на меня. Хотя, конечно, не в этом смысле. Ну вряд ли она даже отдавала себе отчет... она же еще не понимала... и женщиной не была... То есть если она и говорила – «я твоя», то не в смысле – «твоя женщина». Просто – твоя. Твоя вещь. Твоя скотина. Твой портсигар. Твои сапоги. Что угодно твое. Да, что-то такое было, она сама потом мне говорила, когда пришло время говорить. А что он-то тогда думал? Что думал он, глядя на нее сверху вниз, на ее облитый желтой мочой живот? Почему он тогда ее не тронул? Ведь тогда – в ту минуту, только в ту! – она бы приняла его как бога, как отца, как брата, как не знаю кого, – но приняла бы не как насильника и даже, думаю, была бы благодарна ему за то, что он удовольствовался лишь этим... Всего-навсего ее телом. Тельцем. Жалкий дар жертвы, спасенной богом. Ведь не душу – всего-навсего тело отдала бы... Не понимаю. Боюсь понимать. Только и сказал: «Ладно, вставай, чего стынешь тут, пошли». Потом: «Я никому не скажу, не бойся». Почему он ее не тронул? Может, потому, что любой человек все-таки меньше зверь, чем человек? Пусть даже чуть-чуть меньше, на капельку, на искорку, но и этой искорки довольно, чтобы перед смертью сказать себе – хотя бы себе, если решили, что Бога нет, – и я был человеком? Впрочем, романтизм... Ну не знаю. Не тронул. Не воспользовался. Хотя... хотя, может, этих баб испугался? Он же с обеими жил-крутил, а они за него ухватились – как за последнюю в жизни ниточку, думали, вытянет он их с того света... А он не гнушался. Впрочем, никто в городке его не осуждал. Мало ли что в жизни бывает. Одному так нравится и хочется, другому – этак. Не бегаешь голышом по улице, людей не убивает, не ворует. Эка беда, коли он двух баб-перестарок разом укладывает или там по отдельности! Ихние дела, Марфины, Марьины да Ахтунговы. Косточки им, конечно, мыли-перемывали, иной раз и в глаза табачку подсыпали, но это что, без этого и жизнь не жизнь, если ближнего дерьмецом не мазнуть. А иные и от зависти: вон как мужик устроился, двух маток сосет, но ни одной получку не отдает. Лафа. Марфа готова была Марии глаза выцарапать, это точно. И не раз пыталась. Друг перед дружкой мужика заманивали. Не старым мясом, не старой костью – так самогоном. Марфа первая сообразила, что, кроме самогона, в доме еще одна приманка есть. Немка эта немая, Рита. Подросла, округлилась, опушилась. Пора. Нет, пожалуй, вряд ли она так именно и думала, вряд ли даже мысленно произнесла: «Пора». Это уж слишком. Скорее всего, что-то просто шевельнулось там, где у людей душа зябнет. Шевельнулось, дернулось, поперло, встало комом в горле: на меня уже не клонет. Но пусть хоть придет. Пусть просто приходит. Хотя бы чтоб на эту поглазеть. Ведь глазеет же. Без всякого стеснения. Она нагнется – он смотрит. Она сядет – он смотрит. То тайком (ха-ха), искоса, вроде бы случайно, то без всяких там хитростей и ухищрений. Смотрит. А и чего ж не смотреть? Мясо молодое, парное, вкусное. Не то что у Марьи.

Не то что еще у кого-нибудь. Пусть смотрит – не съест. Все равно пока приходит не к ней. Ко мне. Иногда и к Марье. К суке. Нарочно ведь стонет под ним погромче, лярва. Лярвища старая (моложе Марфы на два года). Кряхтит и хлюпает, как старая галошина в луже. Ему-то что. Мужик и есть мужик. Выпил да на бабу. На какую-нибудь. Хоть на эту, хоть на ту. Вольный казак. Иди-ка сюда. Рита подошла. Пойдем-ка со мной. Девочка испугалась, она всегда пугалась, если Марфа вдруг начинала говорить таким голосом, словно пытается что-то проглотить – и не может. Она всегда так говорила, когда велела раздеваться для экзекуции. Но экзекуций давно не было. Марфа открыла свой сундук, долго копалась в пронафталиненных тряпках. На-ка. Чулки почти новые, гладкие, не в резинку, настоящие, как у взрослых. И вот еще. И это. С кружевами, господи. Только велики. Ничего, обносится – притрется. Возьми иголку да подгони. Спасибо. И вот еще это на. Майку больше не надевай, не маленькая. Ну-ка, одень-ка это. Смотрела, сузив глаза, словно прицеливалась. Сойдет. Хоть замуж. Спасибо. Чего расписбилась? Иди себе, иди, да волосья подбери. Вечером Рита сидела за накрытым столом, боясь лишний раз пошевелинуться, чувствуя себя страшно неловко в новом белье, шуршавшем под новым платьем, в чулках со стрелками, пахнувшая одеколоном «Кармен», оглохшая от новизны ощущений и слепо пляшущая на взволнованного ее новым обликом Ахтунга. Той ночью он ласкал пахнущую одеколоном «Кармен» Марфу так нервно и с такой силой, что под утро она готова была простить Рите даже ее немецкое рождение и антихристово происхождение. Но в следующий раз Ахтунг слишком быстро напился и убрался домой, обманув ожидания и Марфы и Марии. И сестры жестоко избili Риту. Раздели донага, разделись донага – и избili. Мучили ее до утра. По-всякому. Ведьмы. Стервы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.